Сборникъ

Изданіе Московской иллюстрированной газеты

О. РЕНАРЪ МОСКВА.

Digitized by the Internet Archive
in 2015

https://archive.org/details/sbornikmoskovsko008800

СБОРНИКЪ

МОСКОВСКОЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ ГАЗЕТЫ,

СОСТАВЛЕННЫЙ ПРИ БЛИЖАЙШЕМЪ УЧАСТІИ

П. Е. Астафьева.

МОСКВА.
Типографія П. Е. Астафьева, Арбатъ, д. Платонова.
1891.

Дозволено цензурою. Москва, 23 мая 1891 г.

ПРЕДИСЛОВІЕ

къ поэмѣ Я. П. Полонскаго «Собаки».

Первоклассныя произведенія первоклассныхъ писателей обыкновенно слишкомъ ясно и громко говорятъ сами за себя для того, чтобы нуждаться въ предисловіяхъ ихъ издателей. Гордясь тѣмъ, что мы имѣемъ возможность предложить нашимъ читателямъ несомнѣнно - первоклассное произведеніе несомнѣнно-же первокласснаго поэта нашего, Якова Петровича Полонскаго — продолженіе и окончаніе его поэмы „Собаки“ —мы нѣкоторыми особенными, исключительными условіями поставлены однако въ необходимость предпослать нѣсколько разъясненій тому *отрывку* крупнѣйшаго произведенія нашего маститаго поэта, который можемъ помѣстить на страницахъ настоящаго изданія. Разъясненія эти необходимы какъ въ виду того, что послѣдующія главы поэмы Я. П. Полонскаго составляютъ только *продолженіе* появившихся еще въ 1889 г. (въ сборникѣ, подъ заглавіемъ „Поэмы, повѣсти и стихотворенія Я. П. Полонскаго“, С. П. Б.) первыхъ тринадцати главъ ея, такъ и въ виду сложившихся въ нашемъ обществѣ, за послѣднее тридцатилѣ-

тіе, литературныхъ привычекъ и отвычекъ, вкусовъ и безвкусій. Здоровые эстетическіе вкусы, только временно подавленныя за это тридцатилѣтіе, вѣчныя, неистребимыя требованія и привычки эстетическаго чувства—въ наши дни очевидно вступаютъ снова въ свои законныя права. Лишенное всякой правды, теплоты и силы чувства, всякой глубокой, непреходящей, осмысливающей художественный образъ идейности, всякаго художественнаго чувства мѣры направленіе, принятое нашимъ искусствомъ съ 60-хъ годовъ во имя ложно понятыхъ *моральныхъ и соціальныхъ* задачъ искусства, въ наши дни уже достаточно обнаружило свою безплодность и все болѣе „теряетъ кредитъ“. Въ этомъ движеніи поэма Я. П. Полонскаго, „Собаки“ продолженіе и окончаніе которой этотъ „Сборникъ“ предлагаетъ читателю, представляетъ выдающееся явленіе. Она блистательно доказываетъ, что и въ области искусства „старая истина есть вѣчная истина“. Она доказываетъ, что художественное произведеніе можетъ тѣмъ лучше послужить и моральной и соціальной задачѣ, чѣмъ оно болѣе *художественно,* чѣмъ въ немъ болѣе чувства мѣры, объективной правды и *любви* къ изображаемому предмету. Она убѣждаетъ насъ, что и сатира тѣмъ сильнѣе и дѣйствительнѣе, чѣмъ она менѣе переходитъ въ карикатуру, чѣмъ болѣе сатирикъ проникнутъ не „священной гражданской ненавистью“, но сочувствіемъ, всепонимающей и всепрощающей любовью, которая цѣнитъ доброе и скорбитъ надъ злымъ въ своемъ предметѣ.

Такою и представляется намъ сатира въ предлагаемой поэмѣ Я. П. Полонскаго „Собаки“,—сатира, тѣмъ болѣе злая и безпощадная, что въ ней нѣтъ ненависти, но царитъ истинно олимпійское, умное и здоровое добродушіе, — тѣмъ болѣе глубокая, что безжалостно обнаруживая собачьи, скотскія стороны нашего человѣческаго характера, она во имя ихъ нетолько не отрицаетъ, но тѣмъ выше возноситъ самую идею и фактъ „человѣчности“ надъ идеею и фактомъ „звѣрчества“. Борьба этихъ двухъ идей,—вотъ предметъ поэмы Я. П. Полонскаго, слишкомъ скромно названной имъ самимъ „юмористическою“,—предметъ, имѣющій и громадное, глубочайшее значеніе для моралиста и публициста, и великую эстетическую цѣнность по художественности своего изображенія. „Человѣка - звѣря“ изображаютъ вѣдь любовно и старательно въ своихъ произведеніяхъ и всѣ корифеи и ремесленники современной *одичавшей* литературы, „декадентовъ“, возбуждая въ читателѣ только тѣмъ большее презрѣніе, ненависть и чувство гадливости къ самому себѣ, чѣмъ ихъ образы ярче, талантливѣе! Въ сатирѣ-же Я. П. Полонскаго современный человѣкъ ясно видитъ и то, что въ немъ есть „собачьяго“, презрѣннаго и низкаго, и то, что онъ можетъ въ себѣ уважать, любить и цѣнить, во что можетъ и долженъ вѣрить. —Это — *настоящая* сатира, а не условная каррикатура Щедрина;—это произведеніе уважающей себя литературы, а не бурсацки - жидовской „свистопляски“ нашего недавняго прошлаго. *Такой* сатиры русская, да и европейская литература, уже много лѣтъ не заносила въ свои списки...

Разставаясь, при послѣднемъ свиданіи, съ пишущимъ эти строки, Я. П. Полонскій высказалъ увѣренность, что „если какое изъ его произведеній переживетъ его, то это именно—поэма „Собаки“. Трудно согласиться съ авторомъ „вечерняго звона“, „кузнечика-музыканта“ и мн. др., что *одна* его послѣдняя поэма избѣжитъ забвенія, составляющаго неизбѣжный удѣлъ второстепенныхъ, подражательныхъ и лишенныхъ силы внутренней правды произведеній. Нѣтъ такого русскаго читателя, которому было-бы неизвѣстно имя Я. П. Полонскаго, какъ писателя, принадлежащаго къ тому поэтическому тріумвирату, который въ теченіе послѣднихъ тридцати-сорока лѣтъ почти исключительно охранялъ и развивалъ, среди общей литературной разнузданности этого времени, завѣты и задачи истинной поэзіи. Нельзя вспомнить объ А. Н. Майковѣ, или объ А. А. Фетѣ, не вспомнивъ при этомъ и о Я. П. Полонскомъ. Едва-ли найдется, далѣе,—даже въ наше время упадка литературной критики и неопредѣленности тѣхъ идеаловъ, которые лежатъ въ основѣ оцѣнки писателей и произведеній,—такой критикъ, который не призналъ-бы за Я. П. Полонскимъ черты, характерно отличающей первокласснаго писателя отъ второстепенныхъ, заурядныхъ. *Эта черта*—полная, законченная опредѣленность его духовной индивидуальности, налагающая и на его слово и на создаваемые имъ образы настолько своеобразную печать, что невозможно уже по произведенію не узнать творца, и ошибочно приписать произведеніе другому автору.

Этою чертою въ высшей степени обладаетъ Я. П. Полонскій, любое изъ произведеній котораго также трудно приписать не ему, а другому поэту, какъ трудно не узнать въ ихъ стихотвореніяхъ А. Фета или А. Майкова. Какъ невозможно поддѣлаться подъ ту неопредѣленность *лирическаго настроенія*, тѣмъ болѣе глубоко, мистически захватывающую, чѣмъ она безплотнѣе, менѣе выразима опредѣленнымъ словомъ и уловима въ понятіе, которая составляетъ неотразимую прелесть стихотвореній А. Фета; какъ невозможно достигнуть классической законченности опредѣленнаго образа, полной гармоніи прекрасной формы съ глубокимъ содержаніемъ, характеризующихъ А. Н. Майкова,—поэта, который, его собственными словами, когда „пронесется вдохновенье — дуновенье духа Божья, роняющее въ хаосъ сѣмя безсмертнаго творенья“,

„— подхватитъ на лету,
„Отольетъ и отчеканитъ
„Въ мѣдномъ образѣ—мечту!“—

также трудно поддѣлаться и подъ характерный юморъ Я. П. Полонскаго. Этотъ юморъ, часто изящный и тонкій, иногда безпощадный и сокрушающій (напомнимъ басню „Орелъ и Змѣя“), но всегда *здоровый*, одинаково чуждый и всякой дѣланности и той болѣзненной сентиментальности или холодной желчности, которыми такъ отличаются почти всѣ писатели нашего больного времени, ставящіе себѣ задачу „проливать невидимыя слезы сквозь видимый смѣхъ“,—особенно ярко выступаетъ у

нашего поэта въ области *животнаго эпоса*. Въ этой области онъ безспорно первый мастеръ современности, хотя на эту сторону его таланта у насъ въ Россіи и обращали доселѣ менѣе вниманія, къ сожалѣнію, чѣмъ она заслуживаетъ. Въ этой-же области создалась и поэма-сатира Я. П. Полонскаго „Собаки“, разсказывающая въ формѣ написанной собакою исторіи одной псарни, о попыткѣ представителей „звѣрчества“ возмутиться противъ власти человѣка, свергнуть съ себя иго человѣчества и самостоятельно устроить свою жизнь по идеаламъ „звѣрчества“.

Мысль сатиры автора настолько ясна и такъ ярко-художественно выражена имъ, что не нуждается въ комментаріяхъ. Самъ авторъ могъ-бы характеризовать свое произведеніе такъ: „моя поэма—сатира не на однихъ утопистовъ, но на всѣхъ, у кого только собачьи свойства преобладаютъ и даже извращены къ худшему примѣсью человѣческихъ страстей и соображеній. И пишущій поэтъ—собака и придворный Валетъ и патріотъ—Вопило и даже подвальные „аристократы“*)—всѣмъ воздается поровну за ихъ собачьи свойства. Стало-быть, не за что сердиться на меня....“ Не за что сердиться, дѣйствительно, ни тѣмъ, кто узнаетъ нѣчто знакомое въ собакахъ либеральныхъ ни тѣмъ, кто найдетъ знакомыхъ среди собакъ консервативныхъ,—кто встрѣтитъ у собакъ и проповѣдь „свободной любви“ и „самопомощи“ и „рабочій вопросъ“ и

*) Дѣйствующія лица поэмы.

„псарнофильство“.... Вѣдь собака, оставаясь вѣрна своей собачьей природѣ, и всякую „идею“, дурную или хорошую, пойметъ и выразитъ не иначе какъ по собачьи, „особачивъ“ ее, такъ сказать! Но нельзя не отмѣтить здѣсь той характерной особенности поэмы Я. П. Полонскаго, къ изложенію первой части которой мы сейчасъ переходимъ, что при всемъ разнообразіи характеровъ выведенныхъ авторомъ на сцену дѣйствующихъ лицъ—собакъ и ихъ собачьихъ „убѣжденій“ и „стремленій“, — у всѣхъ ихъ вѣрный чувству мѣры и художественной правды авторъ не отнимаетъ одной, хотя отчасти примиряющей съ ними читателя черты. Это—общее имъ *добродушіе*, а у большинства изъ нихъ—искренность, нѣкоторая честность и способность увлекаться. Вполнѣ лишена этихъ примирительныхъ свойствъ только одна изъ дѣйствующихъ въ поэмѣ собакъ, — „радикалъ“ Трезвонъ: этотъ *только* ненавидитъ, завидуетъ и ни во что не вѣритъ, кромѣ сытнаго куска! Благодаря этой художественной особенности изображенія Я. П. Полонскаго, его „Собаки“ гораздо симпатичнѣе и ближе къ жизненной правдѣ, гораздо человѣчнѣе, чѣмъ Іудушки съ братіей въ произведеніяхъ сатирика-карикатуриста Щедрина... Поэтому-то и не забудутся „Собаки“ Я. П. Полонскаго даже тогда, когда и самое имя Щедрина исчезнетъ уже изъ памяти людей.

Помѣщая здѣсь часть поэмы „Собаки“, еще не появлявшуюся въ печати, считаемъ необходимымъ для удобства читателей, не успѣвшихъ ознакомиться съ первою частью поэмы, напечатанной въ Сборникѣ Я. П. Полонскаго 1889 года, вкратцѣ изложить со-

держаніе этой первой части. Въ такомъ изложеніи конечно улетучивается и вся художественная прелесть и вся соль юмора подлинника.... но оно и есть только pis-aller.....

Авторъ поэмы—собака, начинаетъ исторію своей родной псарни съ воспоминаній о временахъ эпическихъ, временахъ, когда ея владѣлецъ любилъ охоту и собакъ, за псарней былъ бдительный и заботливый присмотръ, и сами собаки, не мудрствуя лукаво, предавались своему собачьему призванію. Въ это время баринъ „Мирза“

— Молча помавалъ то перстомъ, то плеткой,
И псари отлично понимали дѣло:
Выгоняли звѣря—въ рогъ трубили смѣло—
И глядѣлъ героемъ старый доѣзжачій,
И худая лошадь не казалась клячей,
И всегда побѣду праздновала свора;
Но дни нашей славы миновали скоро.

. . . . . .

Маленькая, злая, бѣленькая, въ тонкомъ
Кружевѣ и съ лаской въ голосенкѣ звонкомъ,
Фея овладѣла бариномъ и дворней,
По Мирзѣ—Мирзихой мы ее назвали.

У барина являются новые интересы и вкусы; на охоту онъ перестаетъ ѣздить и приказываетъ ставшихъ уже безполезными и только безпокоящихъ его „фею“ своимъ воемъ собакъ загнать всѣхъ на псарню—подальше. Въ домѣ остаются только придворный франтъ Валетъ, да любимица Мирзихи—Аминка.

Первое крупное событіе послѣ этого переворота состояло въ томъ, что доѣзжачій, которому псарня была предоставлена, спился отъ бездѣлья и дурно кончилъ.

Разъ онъ спьяну понялъ пашъ языкъ собачій,
Услыхалъ, что каждый честный песъ ругаетъ
Пьяницу за то, что псарню обираетъ,
И пошелъ, шатаясь, къ барину съ доносомъ,
Зарапортовался и—остался съ носомъ.

Эта обида такъ на него подѣйствовала, что онъ не выдержалъ и удавился. Глубоко потрясены собачьи сердца.

Хоть и былъ онъ низкій человѣкъ, а все-же
Человѣкъ хорошій, добрый... Эхъ, канальство!
Трусили мы—будетъ новое начальство!

Но пока дѣло—ограничилось только тѣмъ, что дворня выбрала изъ подвала доѣзжачаго припасы,

Но за то подвальный соръ былъ предоставленъ
Всѣмъ высокороднымъ гончимъ съ ихъ щенками,

которыя съ тѣхъ поръ, выдѣляясь изо всей стаи въ особую подвальную аристократію, живутъ отдѣльною отъ псарни жизнью, сытой, мирной и чуждой тревогъ и сомнѣній. Весь интересъ исторіи отнынѣ сосредоточивается въ средѣ недопущенныхъ въ подвалъ обитателей псарни. Здѣсь наступаютъ времена романтизма. Напрасно ждетъ поэтъ, съ наступившей весною,

что на сворѣ

Поведутъ насъ въ дебри прòсѣкой лѣсною,
Что подъ звуки рога темный лѣсъ проснется,
Что въ хвостѣ у волка гончихъ лай зальется,
И что зайка сѣрый—ушки на макушкѣ—
Выскочивъ, дастъ тягу вдоль лѣсной опушки,
А ему въ догонку, злы, легки и смѣлы,
Точно тетивою спущенныя стрѣлы,
Полетятъ борзыя.—

Весна прошла безъ охоты, въ томительной праздности и обманутыхъ ожиданіяхъ...

текли минуты и текли недѣли,
Въ насъ сердца кипѣли и—перекипѣли.
Многіе съ тоскою вспоминали дѣтство,
Многіе страдали. Близкое сосѣдство
Сумрачной дубравы и привольной степи
Навѣвало думы — чувствовались цѣпи
Праздности и рабства; дворъ нашъ загрязненный,
Съ трехъ сторонъ еловымъ тыномъ окруженный,
Сталъ ужъ намъ казаться дворикомъ острожнымъ.

Все это давало пищу мыслямъ, прежде невѣдомымъ; уже

кой-гдѣ бродятъ толки,
Что собаки, дескать, тѣ-же волки,
Что имъ также можно рыскать гдѣ угодно,
И что запирать ихъ врядъ-ли благородно.

Вмѣстѣ съ тоскою и недовольствомъ стала развиваться мечтательность и разъигрываться фантазія;

— лучи свободы, въ розовую призму
Преломляясь, явно насъ вели къ лиризму.
Всѣхъ тянуло за ограду псарни, на волю,
Даже Амки (то-есть наши дамы) тоже
Чуя духъ свободы, волновались лежа...

Наконецъ предметъ горячихъ мечтаній—лазейка въ оградѣ найдена: наступаютъ первые дни свободы и, вмѣстѣ, дни первыхъ разочарованій.

Найдя лазейку

Бросили мы псарню и, пока желудки
Вновь не отощали, ловко мы справлялись
Съ нашею свободой, ...
. . . . . .

Кто могъ думать, что эта свобода насолитъ имъ хуже, чѣмъ старый доѣзжачій!? Но вотъ—уже въ первый день баба изувѣчила благородную „амку“ Берфу за то, что та „не безъ увлеченья“ лизнула кринку молока, даже не разбивши ее! На другой день, цыганка сманила и увела съ собою лучшаго борзого псарни, Ахилла, а Марса по ошибкѣ подстрѣлила лѣсная стража, встрѣтивъ его ночью на лѣсной опушкѣ! Наконецъ несчастный Соколъ заблудился.

. . . . . Дикій звѣрь дороги
Въ дебряхъ не забудетъ; до своей берлоги
Каждый доберется, каждый слѣдъ отыщетъ,
А собака, если человѣкъ не свищетъ,
Если въ шумѣ вѣтра не услышитъ клички,
Забѣжитъ навѣрно къ чорту на кулички.

Измученный, тощій и голодный вернулся Соколъ, но не было ему у сытыхъ состраданья, а въ корытѣ уже все было вылизано. Заболѣлъ бѣдняга и — протянулъ ноги.

Раздались упреки, сожалѣнья, толки:
Дескать—мы хоронимъ лучшія надежды;
Дескать—загубили молодость невѣжды....
Амки осуждали вѣтренность героя;
Сытые рѣшили: умеръ отъ запоя.

Поняли собаки, что блуждать зря, ради одного удовольствія свободно рыскать, опасно, и стала посѣщать ихъ тайная забота; зарождается вопросъ: какъ быть? какъ устроить свою жизнь и свободно, и сыто, и безопасно? И вотъ ночью въ лѣсу собирается для обсужденія этой задачи первое собачье засѣданіе изъ семи членовъ подъ предсѣдательствомъ водолаза „Мага“. Злой и завистливый волкодавъ „Трезвонъ“ начинаетъ дебаты съ насмѣшки надъ тѣми собаками, которыя своей задачею считаютъ самосохраненье, благосостоянье, миръ и просвѣщенье, доказывая, что эти цѣли у собаки глупы и неосуществимы. Цѣль такова, говоритъ онъ,

что ее едва-ли
Тотъ кобель достигнетъ, кто безъ состраданья,
Безъ великой злобы, даже безъ печали,
Видѣлъ, какъ собаки наши голодали,
Или ради пѣсенъ, то есть завыванья,
Забывалъ свой голодъ, нужды и страданья.
Наша цѣль—одна, чтобъ поровну достало

Всѣмъ ѣды и пойла, стало—быть сначала
Разберемъ: кто вправѣ утолять свой голодъ?
Утолять свой голодъ вправѣ тотъ, кто молодъ,
Кто не заразился старымъ предразсудкомъ,
Что живетъ онъ въ мірѣ не однимъ желудкомъ;
Кто рискуетъ жизнью, кто своей породы
Не щадитъ во имя братства и свободы,

Выводъ его тотъ, что цѣль будетъ достигнута,
если мы не струсимъ,
Если мы всѣмъ лежнямъ горло перекусимъ.

Противъ подобной „радикальной“ программы возстаетъ Барбосъ, резонно замѣчая, что и подвальные лежни кусаются, да и Трезвонъ, въ случаѣ побѣды надъ ними, только первый поспѣшитъ занять ихъ мѣсто. Вдохновенный и мудрый водолазъ въ свою очередь ставитъ вопросъ:

„Будемъ-ли мы сыто
Ѣсть когда изъ псарни унесутъ корыто?
Человѣкъ ужасенъ, если разозлится!
Чѣмъ тогда мы будемъ съ братьями дѣлиться,
Если хлѣбъ не будетъ съ неба къ намъ валиться?
Если-жъ мы другъ друга насмертъ искусаемъ;
Знаете, что скажутъ люди? „Нѣтъ не знаемъ“.
—Скажутъ, псы взбѣсились: мы ихъ разстрѣляемъ.

Передъ этимъ вопросомъ Барбосъ грустно сознается,

Что необходимо пріучиться стаѣ,
Прежде чѣмъ мечтать ей о какомъ-то раѣ,
И чутье и мышцы примѣнить къ работѣ,
Чтобъ на рыбной ловлѣ или на охотѣ,
Безъ людей собаки завели обычай—
Каждому питаться собственной добычей.

Но Трезвонъ злится и грозится даже убѣжать къ волкамъ. Дѣло дошло-бы до драки, еслибы дождь не разогналъ собраніе. Прошло оно, однако, не безплодно:

вопросъ рабочій, поднятый Барбосомъ
На господской псарнѣ моднымъ сталъ вопросомъ.

О самопомощи, о добычѣ себѣ пропитанія собственной охотой начинаютъ мечтать не только кобели, но и нѣжныя „амки“.

Но увы, собаки, безъ людей, безъ Бога,
И безъ рукъ, зубами сдѣлали немного.

Два борзыхъ двое сутокъ охотились и—затравили одного зайченка. Это-ли побѣда?! Подруга поэта, „Стрѣлка“, цѣлый день вначалѣ наслаждалась поэзіей лѣсной прогулки, а затѣмъ—ловила бѣлку, но ее не поймала и вернулась къ другу голодная. Со слезами разсказываетъ она ему о своей неудачѣ.

Я хотѣла
Быть тебя достойной и—весь день не ѣла!
Нѣтъ-ли хоть кусочка мнѣ взаймы?

кончаетъ она, и конечно получаетъ кусочекъ отъ поэта, который знаетъ, что

„Стрѣлка“ благодарна.

Умненькая амка, только жаль, бездарна,
И трудиться хочетъ и никакъ не можетъ—
И чужую корку поневолѣ гложетъ.

Берфинъ сынъ

другую отыскалъ работу:
Сталъ ловить лягушекъ и, трудясь до поту
Сотнями давилъ ихъ. Для чего? Признаться
Самъ того не вѣдалъ. Развѣ обжираться
Гадами, собаки, чортъ возьми, способны!?
. . . . . .
Говоритъ: трудился, чтобъ потомъ не плакать.

Одной Сайгѣ, самкѣ молодой, разбитной и передовой, повезло. Въ болотѣ, которое Валетъ почему-то считаетъ своимъ, но уступаетъ великодушно для охоты гражданамъ псарни, она сразу поймала селезня, что сразу-же дало ей положеніе героини. Но скоро

Зависть распустила пагубныя нити.

Собаки оказываются и завистливы и падки до сплетни. Распустили слухи, будто селезень былъ уже подстрѣленъ и, притаившись за кочкой, отлеживался; такъ что Сайга только нашла, но не поймала его. Поднялась журнальная перепалка, закипѣла злоба, съ ѣдкою приправой клеветы изъ-за славы и первенства...

Словомъ—трудно стало жить на бѣломъ свѣтѣ.

Между тѣмъ на псарнѣ произошли крупныя перемѣны. Въ домикѣ, гдѣ жилъ старый доѣзжачій, поселилась птичница Арина съ мужемъ, старикаш-

кой-солдатомъ. Сначала собаки трусили, ожидая общей перетасовки, но

Затрещала печка и запахло щами:
Это примирило съ новыми жильцами.

Большинство стало подличать передъ Ариной, ради подачки, возмущая болѣе благородныхъ псовъ. Пришлось прибѣгнуть и къ хитрости: замаскировать хворостомъ лазейку

ради опасенья
Не найти въ дворовой твари снисхожденья
Къ нашимъ либеральнымъ преобразованьямъ.

Наконецъ—позоръ и негодованіе! Забывая всякое уваженіе къ благородному назначенію псарни и характеру собакъ, Арина построила на псарнѣ — о ужасъ! — куникъ! Обида эта еще бы не такъ была тяжела,

Еслибъ отъ сосѣдства нѣтуховъ не мало
Нравственность собачья наша не страдала.

Примѣръ нѣтуховъ, живущихъ въ многоженствѣ, увлекъ нѣкоторыхъ собакъ, которыя стали увѣрять,

что изъ подражанья
Нѣтухамъ возникнетъ благосостоянье.

Возникли горячіе споры о „свободной любви“. „Амки“ осторожно обходили эту скользкую тэму, кромѣ Сайги, заявившей прямо, что каковы мужчины, таковы и дамы, что мы-де (амки)

Вашихъ попеченій, чортъ возьми, не просимъ!
Я хотя и амка, но не призывала
Кобелей на помощь, и сама поймала

Селезня въ болотѣ. Гдѣ-же—продолжала
Сайга—равноправность, если вы хотите
Вольничать, а амкамъ воли не дадите!

Сурово относится поэтъ-собака къ этой деморализующей проповѣди, но дѣло уже сдѣлано! Къ одному поднятому вопросу прибавляются другіе.

Общество собачье стало распадаться,
Партіи плодились, съ тѣмъ, чтобъ препираться.

Началась полемика, появились каррикатуры—и на Валета (въ образѣ человѣка) и на самого поэта, и на дамъ-амокъ—

Съ нашей точки зрѣнья не совсѣмъ прилично,
Но за то пикантно и юмористично.

И, что всего смѣшнѣе, глядя на свои каррикатуры, амки начали пресерьезно подражать имъ: выгибать спинки, выставлять лапки—

Были и такія амки, что природный
Хвостъ свой выдавали за какой-то модный.

Но — гдѣ ядъ, тамъ и противоядіе. На аренѣ стали появляться не одни зубоскалы или тупицы, но и вѣщіе пророки:

Водолазъ изъ первыхъ звалъ насъ къ совершенству,
Къ высшему развитью и къ самоблаженству,
А самоблаженствомъ называлъ онъ счастье
Въ міровыхъ движеньяхъ принимать участье.
Иногда во имя звѣрчества взывалъ онъ,

Ибо въ этомъ громкомъ словѣ совмѣщалъ онъ
Всѣхъ четвероногихъ—отъ слона до мыши:
Можетъ-ли собачья мысль подняться выше!

Но эта великая идея звѣрчества вызвала горячій и сильный протестъ со стороны патріота „Вопилы“, проповѣдника „псарнофильства“, т.-е. идеи о святости и ненарушимости связи собаки съ родною псарней и ея господиномъ—человѣкомъ. Указывая на настоящее положеніе заброшенной хозяиномъ псарни, онъ горестно восклицаетъ:

— Глядите, какъ мы облиняли,
Отъ звѣрей отстали, къ людямъ не пристали.

Прежде, говоритъ онъ,

— называли мы нашъ трудъ охотой,
А теперь охота сдѣлалась работой
Трудной и тяжелой. Много всякой дичи,
Но безъ человѣка нѣтъ у насъ добычи.

Въ спорѣ съ метафизикомъ-„Водолазомъ“, пророкомъ „звѣрчества“, „Вопило“ резонно говоритъ:

Если мы собаки,—кто другой быть можетъ
Нашимъ идеаломъ, какъ не тотъ, кто ходитъ
Въ сапогахъ высокихъ и ружье наводитъ
На свою добычу, самъ костей не гложетъ,
А предоставляетъ намъ свои оглодки?

Но и помимо „Водолаза“ встрѣчаетъ ученіе „Вопилы“ отпоръ со стороны дипломата-„Валета“, который указываетъ, что „Вопило“, прославляя псарню,

— за этимъ тыномъ
И не замѣчаетъ дома съ мезониномъ,

Съ кухнею, съ терассой и съ цвѣтущимъ садомъ,
..... Вѣдь
коверъ съ узоромъ
Лучше всякой кучи или ямы съ соромъ.
Здѣсь корыто съ тюрей—а тамъ дорогія
Кушанья, есть погребъ, есть и кладовыя.
Тамъ свинина—роскошь! сыръ—очарованье!
Вѣрьте, что за вѣрность, да за послушанье
Вы должны оттуда ждать себѣ подачки.
. . . . . .
И рѣчамъ „Валета“ кобели внимали,
Нюхали, чѣмъ пахнетъ воздухъ и—вздыхали.

Словомъ: сомнѣніе, разладъ въ убѣжденіяхъ, ложь и раздоры воцарились на заброшенной псарнѣ. И скучно и грустно! А тутъ еще и грустная ненастная осень наступила, съ ея туманами, холодомъ и дождями!

Это грустное время прошло для псарни не безслѣдно, кое-что
созрѣло въ эти двѣ недѣли,
Ибо недовольныхъ гражданъ стало вдвое:
Всѣ мы порѣшили, что людское племя—
Самое пустое племя, и при этомъ,
Если только вѣрить молодымъ поэтамъ
И стихамъ ихъ,—племя глупое и злое.

Въ тоже время убѣдились собаки и въ томъ, что онѣ стали вдвое, втрое развитѣе
Многихъ сотенъ тысячъ Чукчей и Чувашей;
Что у нихъ сложилась, если не идея,

То хоть хвостъ идеи, за который можно
Жадно уцѣпиться и кой-какъ тащиться
По слѣдамъ прогресса...

И вотъ, въ тотъ моментъ когда почва уже совсѣмъ подготовлена, когда презрѣніе къ человѣку и вѣра въ силу и призваніе „звѣрчества“ уже вполнѣ овладѣли собачьими душами, происходитъ, во время ночной меланхолической прогулки собаки — поэта, романическое приключеніе, рѣшительно повліявшее на всѣ дальнѣйшія судьбы псарни. Это романическое приключеніе такъ важно для дальнѣйшаго движенія поэмы и,—въ особенности,—такъ прелестно—художественно разсказано Я. П. Полонскимъ, что у насъ рѣшительно не хватаетъ варварства передавать его въ сокращенномъ, безцвѣтномъ изложеніи. Поэтому перепечатываемъ эту главу поэмы (XII-ю) цѣликомъ.

ГЛАВА XII.

Романическое приключеніе.

Въ томъ, что описалъ я красоту бассейна,
Каюсь передъ Музой и благоговѣйно
Ей цѣлую лапу, дабы съ облегченнымъ
Сердцемъ обратиться къ дамамъ, не лишеннымъ
Маленькаго сердца...
Слушайте, какая
Въ эту ночь случилась встрѣча, роковая
Для меня, для нашей псарни либеральной,

Даже для потомства... Слушайте!
Зѣвая,
Молча созерцалъ я, какъ луна ночная
Серебрила мраморъ, слишкомъ идеальный
Для моихъ понятій. Грустный и печальный,
Я хотѣлъ вернуться. Вдругъ—качнулась вѣтка
На концѣ дорожки... что-то замелькало
Бѣлое,—какъ будто, бѣлая жилетка.
Я въ кусты, прижался—сердце задрожало,
Вижу, въ лунномъ свѣтѣ шествуетъ Валетка!
Навострилъ я уши, притаилъ дыханье.
Явно, что Валетка вышелъ на свиданье;
Что то шевелится около Валетки.
Наконецъ, я слышу голосокъ левретки.
(О, злодѣй! Ей Богу, лучше этой крошки
Не было на свѣтѣ!). Маленькія ножки
По сырой дорожкѣ такъ переступали
Быстро, что подъ ними струнками играли
Узенькія тѣни, глазки чуть мелькали
Серебристымъ блескомъ...
И Валетъ, скосившись,
Слышу, говоритъ ей:
— Милая, влюбившись
Въ васъ, я такъ разсѣянъ, что отъ дѣлъ отбился.
Даже баринъ видитъ, какъ я расклеился.
— Вздоръ, вздоръ, вздоръ! нисколько вы не расклеились,
Зачастила крошка —Гдѣ вы находились,
Помните, въ тотъ вечеръ, какъ, садясь за ужинъ,
Васъ Мирза хватился? А ужъ какъ васъ звали!
Какъ вездѣ искали! Гдѣ вы пропадали?

— Помню, въ этотъ вечеръ, я вамъ былъ ненуженъ,
Отвѣчалъ Валетка, и уединился,
И ужь я не знаю, какъ я не лишился
Своего разсудка!
— Ахъ, какая жалость!
Развѣ я не вижу, что все это шалость,
Глупости! Ступайте въ псарню, тамъ влюбитесь.
— Grand mercі! Ей-ей, вы Бога не боитесь,
Я хожу на псарню, но хожу по службѣ.
— Знаемъ вашу службу, служба ваша—сказки!
Тамъ не служба,—амки глупыя по дружбѣ
Моднымъ кавалерамъ расточаютъ ласки.
Перестаньте охать!..
— Милая, повѣрьте,
Если я не стану васъ беречь, то скоро
Я, и вы, и всѣ мы будемъ жертвой смерти,
Не сегодня—завтра...
— Не болтайте вздора...
— Смѣю васъ завѣрить, что, быть можетъ, нынѣ
Ночью все погибнетъ: барину, свининѣ,
Сыру, банкамъ, стклянкамъ, нашей воплощенной
Добротѣ—Мирзихѣ, вамъ—моей богинѣ,
А затѣмъ, конечно, и моей персонѣ
Угрожаетъ гибель. Пусть!
И, огорченный,
Замолчалъ Валетка.
Боги! въ грустномъ тонѣ
Голоса и въ каждомъ, такъ сказать, движеньи
Этого героя, сила убѣжденія
Такъ и пробивалась, такъ и пробивалась!

Нѣжная левретка такъ перепугалась,
Что у ней какъ будто подкосились ножки,
И она невольно, посреди дорожки,
Пріостановилась.
— Ну, ну, говорите!
—Для чего-съ! Меня вы слушать не хотите,
Я, вѣдь, вру...
— Однако, можно врать, но это
Свыше всякой мѣры...
И она Валета
Хвостикомъ мазнула по носу.
Валетка
Хоть бы облизнулся! Я такой притворной,
Грустно-строгой мины, строгой и покорной
Не видалъ ни разу (а видалъ, такъ рѣдко).
Этой грустной миной онъ попалъ такъ мѣтко
Въ цѣль, что съ легкой дрожью съежилась левретка.
(Вотъ, у насъ Валета называютъ фатомъ;
Я же убѣдился, что Валетъ родился
Быть необычайно ловкимъ дипломатомъ).
Долго не хотѣлъ онъ говорить, косился
На луну, на звѣзды, наконецъ рѣшился:
— Я предполагаю, началъ онъ,—что слово
„Звѣрчество“ для слуха вашего не ново;
Но едва ль понятно вамъ его значенье;
Я поймалъ на псарнѣ это выраженье,
Сталъ слѣдить и понялъ, что все это значитъ.
Трепещу. Васъ это можетъ озадачить.
Звѣрчество-съ явилось между кобелями
Лозунгомъ союза съ дикими звѣрями.
Псарня, наша псарня-съ, въ праздности великой

Пребывая, бредитъ о свободѣ дикой,
Внемлетъ пропагандѣ, и на незаконный
Путь черезъ лазейку вышла, и съ волками
Снюхалась, и даже стала съ медвѣдями
Подъ одни знамена. Хитрая лисица
Тоже къ нимъ пристала. Ну-съ, вообразите,
Что это за сила! Чѣмъ вы устраните
Страшную опасность? Здѣсь вѣдь не столица,
Гдѣ войска, гдѣ можно такъ распорядиться,
Что маршъ-маршъ, пафъ-пафъ,— и все угомонится.
Но представьте только медвѣдей мордастыхъ
Сотни три—четыре, столько же зубастыхъ
Волчьихъ рылъ, да стаю хитрыхъ, куроядныхъ
Лисьихъ мордъ! И гдѣ же? У дверей парадныхъ
Нашего жилища! Что тогда? Едва ли
Намъ помогутъ ружья; мы же растеряли
Всѣ свои патроны, отсырѣлъ нашъ порохъ,
Баринъ спитъ... Тс! тише... чей-то слышенъ шорохъ.
Что-то чуетъ носъ мой...
Но, пока я съ вами,
Ничего не бойтесь...
Крошка со слезами
Слушала Валета.
— Нынче, какъ хотите,
Продолжалъ Валетка, только положите
Вы меня у двери вашего покоя,
Гдѣ вы стережете ложе золотое
Молодой Мирзихи, и спокойно спите.
Милая, довѣрься! Никогда не вру я,
И тебя спасу я. Не живой, такъ мертвый,
Твоего достоинъ буду поцѣлуя,

Все отдамъ за звѣзды глазъ, за нѣжный взоръ
твой!!

Боги! вотъ что значитъ сила эгоизма!
Я давно такого не слыхалъ лиризма!!!
И, развѣся уши, до того забылся,
Такъ былъ сердцемъ тронутъ, что пошевелился.
Но любовникъ пылкій вдругъ почуялъ близость
Моего дыханья, зарычалъ, рванулся
Съ мѣста, прыгнулъ тигромъ и—какая низость!
Прежде чѣмъ успѣлъ я въ страхѣ растянуться
Въ позѣ беззащитной жертвы, т. е., прежде
Чѣмъ я поднялъ ноги вверхъ и заикнулся
О моемъ пардонѣ, въ сладостной надеждѣ,
Что меня проститъ онъ, острый зубъ Валета
Пронизалъ мнѣ шею. Я не взвидѣлъ свѣта
И ужь поневолѣ сталъ храбрѣе волка.
Мы тогда сцѣпились. Я вцѣпился въ ухо,
Онъ вцѣпился въ ляжку, и рычалъ я глухо:
Караулъ! Спасите!!...
Еслибъ не Орёлка,
Ахъ! живымъ на псарню мнѣ бы не вернуться.
Услыхалъ Орёлка, что въ саду дерутся,
Прибѣжалъ въ надеждѣ защищать Валетку,
И каковъ невѣжда!—прямо на левретку
Налетѣлъ съ размаху, и,—воображая,
Что она простая амка—гулевая,
Взялъ да и облапилъ! а она
— Спасите!
Завопила:—волки! ай, ай, ай, ай! волки!!
И Валетъ проклятый (случай, какъ хотите,
Для меня счастливый)... и Валетъ къ Орёлкѣ

Бросился съ такимъ же точно озлобленьемъ.
Я тогда, конечно, тягу далъ...
И толки
О моемъ побѣгѣ, съ явнымъ оскорбленьемъ
Чести, съ прибавленьемъ разныхъ глупыхъ сплетень,
Поглотили псарню.
Такъ, я сталъ замѣтенъ,
Знаменитъ и славенъ. У собакъ, извѣстно,
Что *скандалъ*, что *слава*, все равно.
Не лестно
Одолжаться славой глупости, но это
Не должно нисколько огорчать поэта,
Мы не переучимъ ни собакъ, ни свѣта.

Раненый, больной лежитъ поэтъ — герой приключенія, прислушиваясь къ толкамъ, сплетнямъ и совѣтамъ, вызваннымъ его дуэлью съ придворнымъ „Валетомъ“. „Вопила“ приходитъ укорять его за то, что онъ не за псарню бился, — „изъ за чести!“ а

Ничего преступнѣй нѣтъ подобной мести!

Сайга хвалитъ его за единоборство съ вѣчно сытымъ фаворитомъ, мѣтящимъ, корча человѣка, въ начальство. Подвальный „пшюттъ“ ужасается смѣлости поэта и предрекаетъ ему, что дѣло для него кончится прескверно. Демократы негодовали на него, предполагая, что онъ влюбился въ обитательницу гостинной, левретку, и увивается около богатыхъ. Огорченный всѣми этими сплетнями и злословіемъ, поэтъ однако всего болѣе смущенъ воспоминаніемъ о подслушанной имъ баснѣ „Валета“, будто соби-

рается союзъ всѣхъ звѣрей противъ человѣка, увѣренный, что,

Вѣдь, пока мы звѣри, до скончанья вѣка
Будемъ мы подъ грозной властью человѣка!

И вотъ, къ измученному этой мыслью и обиднымъ предположеніемъ, что въ тайну заговора посвящена уже вся псарня, и только отъ него ее изъ недовѣрія скрываютъ, поэту является злой нахалъ „Трезвонъ“, чтобы издѣваться надъ его мнимой трусостью. Больной поэтъ возвращаетъ упрекъ „Трезвону“, спрашивая, почему-же онъ-то самъ, сильный волкодавъ, не проучитъ „Валета?“ „Трезвонъ“ откровенно отвѣчаетъ, предупреждая, что онъ больно кусается, что

Я снесу гримасу, злость, обманъ уродство,
Только не снесу я умныхъ превосходства.
Хоть „Валетъ“ и силенъ, но не онъ вліяетъ
На умы и, значитъ: мнѣ онъ не мѣшаетъ.

Высказываетъ онъ поэту и подозрѣніе, что тотъ желалъ-бы самъ пользоваться завиднымъ фаворомъ „Валета“. Разобиженный поэтъ намекаетъ на извѣстную „Валету“ тайну заговора. Собесѣдникъ его сначала не понимаетъ, слушаетъ его болтовню съ недоумѣніемъ, но, наконецъ, разобравъ въ чемъ дѣло, вскакиваетъ, взвывъ на прощаньи:

— Будь здоровъ, спасибо, братецъ, за идею...

Судьбы этой идеи союза звѣрей во имя „звѣрчества“ противъ человѣка, и составляютъ предметъ слѣдующихъ главъ поэмы „Собаки“.

П. Е. Астафьевъ.

СОБАКИ

ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПОЭМА

Л. П. Полонскаго.

Гл. XIV—XVIII.

О РЕНАРЪ МОСКВА.

СОБАКИ

юмористическая поэма

Я. П. Полонскаго.

ГЛАВА XIV.

Неожиданныя послѣдствія.

Вой, родная Муза, насъ съ тобой надули!
Вой, коли не можешь вразумить насъ свистомъ...
Дипломатъ Валетка слилъ такія пули,
Такъ навралъ, что будь я солнцемъ въ небѣ чистомъ,
И тогда нашло бы на меня затмѣнье.
Домъ Мирзы ограбить и поползновенья
Не было у нашихъ либераловъ красныхъ,
(Умныхъ, но безпутныхъ, злыхъ, но неопасныхъ)
Негодяй Валетка (хуже негодяя
Не было на свѣтѣ), яко бы спасая
Отъ волковъ, медвѣдей и, ужъ я не знаю,
Отъ какихъ чудовищъ, дѣвственную Крошку,
Разставлялъ ей сѣти... словомъ, но немножку
То смущалъ, то нѣжилъ: но—я умолкаю;

Всякому извѣстно, что къ земному раю
Путь одинъ,—путь грѣшный. Люди, лицедѣи,
Этотъ путь скрываютъ (ибо тѣ-же змѣи).
Такъ и нашъ Валетка думалъ безъ сомнѣнья
Скрыть во мракѣ ночи сладкія мгновенья,
Мнилъ, что это дѣло будетъ шито-крыто.
Какъ не такъ!.. Случайно, толстая Улита,
Проходя подъ утро въ гардеробъ со свѣчкой,
Ихъ вдвоемъ застала въ уголкѣ за печкой...
Тайну подглядѣли, тайна разгласилась,
Барыня узнала и раскипятилась.
Выбѣжала чуть ли не въ одной сорочкѣ,
И свою прислугу, (всѣхъ по одиночкѣ),
Выбранивъ, велѣла вытурить Валетку,
И въ чуланъ холодный заперла левретку.
Узница однако-жъ скоро улизнула
Изъ-подъ караула, и къ ногамъ прильнула
Молодой Мирзихи; туфли ей лизала,
Хвостикъ подгибала, сжилась, дрожала
Точно въ лихорадкѣ, и такъ тихо-тихо,
Взвизгивая, ныла, что надъ ней Мирзиха
Сжалилась,—простила. Ей вообразилось,
Что Валетъ и Крошка пламенно другъ въ друга
Влюблены... и то, что съ ними приключилось,
Было чѣмъ-то въ родѣ знойнаго недуга,
Или пароксизма всѣмъ извѣстной страсти.
И Валетъ не только спасся отъ напасти
Или пареканья,—съ пряжкою ошейникъ
Получилъ въ награду, угодилъ мошенникъ!
Зализавши раны, я случайно вышелъ
Погулять отъ скуки и поволочиться;

Но, какъ оглашенный, ничего не слышалъ,
Ничего не видѣлъ, что кругомъ творится.
Разъ, черезъ лазейку, чтобъ найти отраду
Въ запахѣ осеннемъ, (ибо начинало
Пахнуть все, что блекло или умирало)
Побѣжалъ я къ лѣсу, обѣжалъ ограду
И на перекресткѣ, за скирдами сѣна
Повстрѣчалъ Орелку. Парень шелъ за возомъ
(Возъ одинъ былъ съ лыкомъ, а другой съ навозомъ).
Шелъ онъ какъ въ онучахъ, въ тинѣ по колѣна.
Впрочемъ, добрый малый, сущимъ демократомъ
Онъ глядѣлъ; и я его любезно
Ущипнулъ и назвалъ по привычкѣ братомъ:
—„Что братъ?— И тебѣ, братъ, отъ него полезный
Данъ урокъ? не суйся!“—„Это про Валета
Ты мнѣ намекаешь!.. молвилъ, отставая
Отъ возовъ, Орелка“.—„Ну, да трепка эта
Вовсе не простая трепка, а такая,
Что ее во вѣки, братецъ, не забудешь.
Отомстимъ! А, впрочемъ, ты сегодня будешь
Въ лишкахъ за кладбищемъ... Тамъ мы потолкуемъ...
Геній вашъ Трезвонка! Вотъ мы носомъ чуемъ
То да се, а онъ, братъ, шевелитъ мозгами!..
Слышалъ о проэктѣ съ дикими звѣрями
Снюхаться и міромъ завладѣть? Хлопочемъ...
Потому что... геній,.. братецъ мой. А впрочемъ
Я отсталъ отъ воза, побѣгу, дружище...
До свиданья... ночью, около кладбища“...
И за возомъ съ кладью побѣжалъ Орелка.
Сразу я не понялъ, что за ахинею

Городилъ онъ,—началъ добиваться толка
И пришелъ въ смятенье... Какъ!? мою идею,
Ту, что самъ извлекъ я изъ рѣчей Валета,—
Ту, что выражалъ я, какъ недоумѣнье,
Выдавать за новость иль за откровенье
Собственныхъ усилій мысли! И все это
Отъ меня тихонько!.. Тайно совѣщаться...
И, быть можетъ, даже втайнѣ покушаться—
Очернить больнаго, бѣднаго поэта!!
О! теперь понятно все, чего онъ хочетъ!—
Отчего и Сайга надо мной хохочетъ,
Отчего и Теска скалитъ зубъ свой: ясно,
Что я былъ опутанъ гнусною интригой,
И что какъ ни рвись я, или какъ ни прыгай—
Передъ клеветою будетъ все напрасно!
Такъ страдая духомъ, мрачный и унылый
Я въ родной мнѣ уголъ, для меня постылый,
Брелъ назадъ—и что же?—шумъ и возбужденье
Застаю на псарнѣ... Что за приключенье?
Не Мирза ли вздумалъ посѣтить?.. И что же,
Вижу?—воротился нашъ Ахиллъ; по рожѣ
Узнаю дѣтину... Голосъ сиповатый,
Шерсть—собачья шуба съ желтою заплатой,
Шея, хвостъ и весь онъ былъ какъ-бы обдерганъ,
Иначе ощипанъ... Чѣмъ же сей восторгъ онъ
Возбудилъ въ собакахъ? Или на Ахилла
Глядя, каждый думалъ: о, да ты, братъ, сила!
Ты герой-собака! И, скрестивши ноги,
Онъ сидѣлъ и долго о своей дорогѣ
Полной всевозможныхъ чудныхъ приключеній,
Напѣвая амкамъ, говорилъ имъ: Былъ я

Жертвою безумныхъ, страстныхъ увлеченій,
Но за то жъ не мало дѣлъ и натворилъ я!
Люди увѣряютъ, что меня, Ахилла,
Увела цыганка... Увела!! Вотъ мило!
Я увелъ, и даже такъ распорядился,
Что цыганскій таборъ мнѣ же подчинился.
И куда ни шелъ я, таборъ шелъ за мною
Съ пѣснями, съ гитарой, съ цѣлою гурьбою
Смуглыхъ ребятишекъ....
Это что такое!...
Неужели курникъ? начиналъ онъ снова,
Скрещивая лапы. Это что-то ново!
Ха, ха! Будь я съ вами, не было-бъ такова
Безобразья! Нѣтъ ужъ, я не допустилъ-бы!...
И Ахиллъ, конечно, долго говорилъ бы,
И, быть можетъ, самъ бы сталъ зѣвать, завравшись,
Еслибъ нашъ Трезвонка, стороной пробравшись,
Не толкнулъ Ахилку. Всѣ посторонились,
И Трезвонъ съ Ахилломъ тихо удалились.
Помню, самъ я видѣлъ, какъ они шептались,
Какъ Трезвонъ при этомъ на меня косился.
Изъ-за синей тучи солнца глазъ свѣтился
Точно красный уголь. Молча я забился
Въ глубину конуры и глядѣлъ оттуда,
Какъ, нахохлясь, куры въ курникѣ дремали,
Какъ въ окнѣ Арины при свѣчѣ мелькали
Уши самовара и ея посуда,
Какъ въ тѣни, подальше, около канавки
Двѣ три модныхъ амки, спать ложась, искали
Блохъ, и точно такъ же какъ простыя шавки,
Завернули хвостикъ и чесали спину;

Какъ Ахиллъ съ Трезвономъ пробирался къ тыну,
Какъ за ними Сайга проскользнула змѣйкой,
Какъ Барбосъ о чемъ-то съ ней передъ лазейкой
Шепотомъ поспорилъ, и какъ тьма одѣла
Спящихъ и бродящихъ. Стрѣлка захрапѣла
У меня надъ ухомъ; морда водолаза
Съ темнотой сливалась; но его два глаза—
Два зеленоватыхъ огонька мерцали
Въ темнотѣ и долго спать мнѣ не давали.
Я взывалъ: о Муза! будь добра и лаской
Моего ты сердца пуще не царапай.

ГЛАВА XV.

Засѣданіе и дебаты.

Но и въ полночь счастье мнѣ не улыбнулось:
Небо было въ тучахъ и земля дышала
Теплотой, какъ будто къ ночи завернулась
Въ мягкіе туманы, словно въ одѣяло. *).
И все было тихо, такъ невѣроятно
Тихо, что я трусилъ, и неоднократно
Сердце замирало и—звенѣло въ ухѣ
Въ часъ, когда тайкомъ я ползъ въ травѣ на брюхѣ.
Ползъ я—ползъ, и вотъ ужъ чую за кустами
Валъ идетъ; за валомъ пахнетъ мертвецами.
Въ эту ночь я чуткимъ носомъ отличилъ бы

---

*) Сравненье чисто собачье. Было бы гораздо поэтичнѣе сказать: „въ покрывало“, но собачьяго вкуса я измѣнять не намѣренъ.

О. РЕНАРЪ МОСКВА

Новопогребенныхъ и, какъ песъ, завылъ бы,
Еслибъ не напрягъ я своего вниманья
На другія цѣли... Сильно мнѣ желалось
Разузнать, какое это совѣщанье?
Сыро было, темно, тяжело дышалось,
И душа отъ страха уходила въ пятки.
Вотъ ужъ въ щель кирпичной сломаной оградки,
Межъ крапивныхъ листьевъ, я залѣзъ, какъ въ нишу,
И приникъ, и началъ вслушиваться:—слышу
Говоръ, споры, рѣчи,—и позабывая
Личную обиду и благословляя
На великій подвигъ всю собачью стаю,
Вытянулъ я морду, уши навостряю
И запоминаю:

Трезвонъ.

Господа, постойте—
Выслушайте прежде, а потомъ ужъ войте.
Къ намъ Ахиллъ не даромъ возвращенъ судьбою;
Хорошо знакомъ онъ съ дебрею лѣсною,
Знаетъ, гдѣ медвѣди на зиму въ берлогу
Спать ложатся, знаетъ торную дорогу
Къ лисьимъ норамъ, знаетъ, гдѣ порой витаетъ
Косоглазый заяцъ или гдѣ шныряетъ
Волчья банда—словомъ, намъ Ахиллъ укажетъ
Всѣ пути, и этимъ дружбу намъ окажетъ.

Ахиллъ.

Я готовъ. Не даромъ таборъ я цыганскій
Посѣтилъ. Цыгане, знаете, водили
На цѣпи медвѣдя—(изъ Тьмутараканской

Онъ страны былъ родомъ,) и собаки выли
Всякій разъ, когда мы съ Мишкой проходили
Пасѣкой, деревней или слободою,
И я, признаюсь вамъ,—я отъ васъ не скрою,
Что меня сначала тоже подмывало
Взвыть или вцѣпиться Мишкѣ прямо въ ухо,
Но я съ нимъ сдружился, и когда Илюха,
Тотъ цыганъ, который къ этому бѣднягѣ
Былъ не очень ласковъ, натянувшись браги,
Свечера ложился дрыхнуть подъ колеса,
Мишка тоже дрыхнулъ. Если жъ не спалося—
Онъ мечтами въ сумракъ лѣса уносился
И со мной мечтами этими дѣлился.
Гдѣ его родные: сестры, братья, дѣти—
Я ужо доставлю свѣденія эти.

Барбосъ.

Вашъ разсказъ, почтенный нашъ Ахиллъ Азорычъ
Думы безнадежной услаждаетъ горечь.
Если можно въ дружбѣ быть съ однимъ медвѣдемъ,
То какой тупица скажетъ, что мы бредимъ,
Если утверждаемъ, что и съ медвѣдями
Вообще возможно полное согласье?

Сайга.

Да, да, да, не только съ ними—и съ волками
Полный миръ возможенъ, и какое счастье
И какая слава ждетъ насъ въ недалекомъ
Будущемъ!!...

Ахиллъ.

Все дѣлать слѣдуетъ съ наскокомъ,
Показать сначала, что и мы не трусимъ,

И кто насъ задѣнетъ, мы того укусимъ,
И потомъ, ужъ смѣло снюхиваться...

Тоска.

— Дѣло!

Трезвонъ.

Да, да, безъ союза всѣхъ четвероногихъ
Сильныхъ и могучихъ, слабыхъ и убогихъ,
Звѣрчество едва-ли мыслимо, и смѣло
Мы приступимъ къ дѣлу, изберемъ сначала,
Такъ сказать, искусныхъ мы пропагандистовъ,
Разошлемъ повсюду, не боясь нимало,
Что въ лѣсу найдетъ насъ ловчій или приставъ.
Кто къ волкамъ?..

(Продолжительное молчаніе).

Ахиллъ.

Кому-же, какъ не вамъ, Трезвону
Марсычу?—вѣдь вы же были волкодавомъ,
Вы сильнѣе волка и должны, по здравомъ
Размышленьи...

Голосъ.

Правда!

Трезвонъ.

Это все отлично,
Даже слишкомъ лестно, но не политично:
Волки непремѣнно вспомнятъ, какъ далеко
Мы ихъ загоняли въ дебри, какъ жестоко
Съ ними поступали наши волкодавы,

И не пожелаютъ—(таковы ихъ нравы!—)
Снюхаться съ потомкомъ тѣхъ, кто насолилъ имъ.
Драть волковъ—извольте, это мнѣ по силамъ;
Но вѣдь вы хотите вовсе не для драки
Посылать Трезвона?

Общій лай или голоса.

— Это просто враки!
— Вздоръ! не предки, самъ онъ на волковъ въ атаку
Хаживалъ и волки эту забіяку
Знаютъ и боятся...—Я не повторяю
То, что всѣмъ извѣстно... Тише!..

Трезвонъ.

Полагаю,
Слѣдуетъ спросить мнѣ, кто себя считаетъ
Гражданиномъ псарни, кто готовъ собою,
Всей своею жизнью, грудью и спиною
Жертвовать? Пусть каждый лапу поднимаетъ.

Голоса.

Я... я... я... Мы всѣ...

Барбосъ.

И я, Барбосъ.

Трезвонъ. *(Барбосу).*

Прекрасно!
Не смотря на ваши молодые годы,
Вы, Барбосъ, готовы смѣло, громогласно
Изъявить желанье быть посломъ свободы,
Равенства и братства у волковъ...

Барбосъ.

Признаться —
Я не заявляю моего желанья;
Но пойду, конечно, если все собранье
Этого желаетъ.

Голоса.

Если можешь взяться
Ты за это дѣло,—съ Богомъ!

Трезвонъ.

Господа, къ медвѣдямъ
Кто пойдетъ? Медвѣди въ старости зимуютъ
Въ одинокихъ кельяхъ и всегда пасуютъ
Передъ женскимъ поломъ:—такъ мы и подъѣдемъ
Къ медвѣдямъ... Пошлемъ къ нимъ амку развитую,
Ловкую... При этомъ ухитриться надо,
Тамъ чтобъ каждый Мишка съ перваго же взгляда
Воспылалъ любовью. Кто-жъ изъ васъ рѣшится
Съ Мишкой хоть на время какъ бы породниться?

Сайга.

Я рѣшусь,—но только кто меня проводитъ?
Я, быть можетъ, даже не найду пещеры
Гдѣ живетъ сей пастырь.

Берфа.

Ахъ! всегда находитъ
Путь свой тотъ, кто вѣритъ...

Сайга.

Нѣтъ, тутъ мало вѣры,-
Я *мѣстовъ* не знаю. Если вамъ угодно,
Чтобъ я шла къ медвѣдямъ, будетъ не безплодно,
Если вы велите нашему Ахиллу
Быть сопровожатымъ...

Ахиллъ.

Съ вами-съ хоть въ могилу!

Вой голосовъ.

Браво, браво, браво!—Что за сантименты!
Вызвалась! Кокетка!.. Любитъ комплименты!..

Орелка.

А меня пошлете?

Трезвонъ.

Господа! Орёлка,
Истый представитель плебеизма, гордый
Демократъ, природой не лишенный толка,
И при томъ, замѣтьте, въ убѣжденьяхъ твердый,
Хочетъ послужить намъ. Говорятъ, лисица
Ловкая особа, т. е., мастерица
Хитрецовъ дурачить; но она замѣтитъ,
Что не отъ Орёлки ей грозитъ опасность,
Что его всѣ рѣчи—простота и ясность,
И ему, конечно, иначе отвѣтитъ,
Не хитря, быть можетъ кумушка при этомъ
Угоститъ Орёлку, и снабдитъ совѣтомъ,
Какъ намъ быть... И такъ, мы всѣ единогласно
Избрали Орёлку.

Голоса.

Всѣ, всѣ, всѣ! Прекрасно!

Трезвонъ.

Остаются зайцы! Къ зайцамъ я отправлюсь.
Вспомните, недавно заяцъ косоглазый
Выбилъ глазъ у Тютьки... Заячьи проказы
Иногда опасны; но я съ ними справлюсь;
Если обѣщать имъ огороды, гряды,
Свёклу и капусту—будутъ очень рады;
Если-жъ и сады имъ дать на расхищенье —
Это будетъ даже нѣчто вродѣ мщенья
Людямъ.

Голоса.

Мы согласны...

Водолазъ.

Я не одобряю
Выборовъ.

Трезвонъ.

(Съ сдержаннымъ гнѣвомъ).
А гдѣ вы, другъ мой, пропадали?

Водолазъ.

Тамъ гдѣ всѣ вы въ сборѣ, я непропадаю —
Слушаю невольно.

Трезвонъ.

...Мы же не слыхали
Ни словечка съ вашей стороны; не знаемъ,
Да и знать не хочемъ, гдѣ вы, другъ мой, были,
И зачѣмъ такъ поздно умъ свой заявили.

Но что мы рѣшили громогласнымъ лаемъ
И единогласно—не перерѣшаемъ.

Водолазъ.

Что-жь! Пошлите къ сильнымъ слабыхъ, иль без-
сильныхъ;
Къ хитрецамъ пошлите простяковъ умильныхъ;
Къ слабымъ и трусливымъ посылайте явныхъ
Задиралъ зубастыхъ; изъ такихъ неравныхъ
Отношеній выйдетъ что нибудь такое
Странное, что даже трудно и предвидѣть.
Я (вы мнѣ повѣрьте) я собакъ обидѣть
Вовсе не желаю—дѣло ихъ святое,—
Но скажу—при словѣ: *звѣрчество*, невольно
Я кругомъ бросаю взоръ свой и мнѣ больно,
Что не всѣ мы въ сборѣ, что дружась съ волками,
Съ зайцами, съ лисицей, даже съ медвѣдями,
Мы въ своей же псарнѣ помирить не можемъ
Никого, и только ежедневно множимъ
Распри, сплетни, злобу, сыплемъ клеветами;
Не вражда, такъ зависть нами руководитъ,
Такъ что сердце плачетъ, разумъ колобродитъ.
Наконецъ, спрошу я: если мы съ волками
Быть хотимъ въ союзѣ, отчего межъ нами
Нѣтъ мышей; а мыши, это всѣмъ извѣстно,
И умны и ловки,—даже есть преданье—
Мыши круля съѣли...

Трезвонъ.

Мыши! вотъ чудесно!
Почему-жь не крысы?.. Верхъ непониманья,
Верхъ неуваженья къ намъ и нашимъ нравамъ!

Водолазъ.

Отчего нѣтъ кошекъ, лошадей, барановъ?

Трезвонъ.

Оттого, что кошки служатъ у тирановъ
И мышей имъ ловятъ; оттого, что лошадь
Заперта въ конюшнѣ, а быки, бараны,
Свиньи, поросята и козлы—болваны,
Ретрограды, сволочь... Врядъ-ля облапошить
Вамъ собакъ удастся хитрыми рѣчами.

Голоса.

Насъ не облапошить!..

Водолазъ.

Чѣмъ же доказали
Ваши волки умъ свой?

Трезвонъ.

Тѣмъ, что поѣдали
Дураковъ.

Водолазъ.

А зайцы?

Трезвонъ.

Зайцы! Хоть они и трусы,
Особливо въ полѣ или въ огородѣ,
Но въ дома не лѣзутъ слушать тамъ турусы
На колесахъ, или жрать въ ущербъ свободѣ...

Водолазъ.

И баранъ такой же точно сынъ природы,
И козелъ такой же звѣрь четвероногій,
Какъ и вы!..

Трезвонъ.

Замолкни! Философской тогой
Врядъ ли ты прикроешь нищій духъ! Напрасно
Поднимаешь лай свой, лучше убирайся
Во свояси, или искренно сознайся,
Что твой умъ бараній.

Общій лай.

Сказано прекрасно!
Къ чорту водолаза!.. Вонъ!..

Водолазъ.

Я удаляюсь.“
Онъ ушелъ; я тоже,—и ничуть не каюсь.
Еслибъ и Вопило—патріотъ провѣдалъ,
Что творятъ собаки, вѣрно бы отвѣдалъ,
Что за штука—зубы. Еслибъ и Валету
Вздумалось забраться ночью на кладбище,
Врядъ-ли бъ дипломатъ нашъ воротился къ свѣту
На примятый коврикъ барскаго жилища.

ГЛАВА XVI.

Трогательное прощаніе.

Пѣлъ пѣтухъ—онъ сытъ былъ; я же корку хлѣба
Откопалъ и жадно грызъ ее. Подъ утро
Ярче аметиста, чище перламутра
Серебристо-алый, облачный край неба
Начиналъ свѣтиться. Фениксомъ изъ пепла
Возникало солнце. Все, что ночью крѣпло,
По утру размякло. Корку доѣдая,
Съ завистью глядѣлъ я, какъ Ахиллъ, шагая,
Въ лѣсъ ушелъ за Сайгой. Сайга молодая
Распустила хвостъ свой въ полномъ убѣжденьи,
Что она медвѣдей посвятитъ въ ученье
Равенства и братства. Дай ей Богъ успѣха!
Съ завистью глядѣлъ я... но была потѣха!
Дворникъ нашъ Орелка барскій дворъ покинулъ,
Свой хвостище пыльный на спину закинулъ,
И, оскаля зубы и вихоръ вскосматя,
Въ лѣсъ шагалъ, имѣя видъ ночнаго татя.
Какъ исчезъ Трезвонка—я совсѣмъ не видѣлъ.
Хоть о немъ и думалъ, (ибо ненавидѣлъ).
Наконецъ, Барбоска началъ собираться,—
Собрался въ дорогу и пришелъ прощаться:
— Кой-куда по дѣлу посланъ я—сказалъ онъ:
— И прощай, дружище! Путь хоть и не дальній,
Тихо продолжалъ онъ, видимо, печальный;
—Путъ хоть и не дальній, только по дорогѣ
Голодуха бродитъ, и кого ни встрѣтитъ—
Не ножемъ, такъ пулей по боку отмѣтитъ.

И коли живой я не вернусь—о Богѣ
Вспомни и Барбоски душу помяни ты.
Вотъ тебѣ на память два стихотворенья,—
Плохи,—не хватило, братецъ, вдохновенья;...
Но хоть и не плохи, что ни говори ты,
Всѣ писанья наши будутъ позабыты
Безъ слѣда, безъ славы; такова собачья
Память"...
Мнѣ хотѣлось плакать, но заплачь я —
Онъ бы непремѣнно понялъ, что я знаю
Ихнія затѣи, значитъ, понимаю.
Что ему, бѣднягѣ, никакой надежды
Нѣтъ сойтись съ волками, что его невѣжды
Явно посылаютъ на убой. И долго,
Долго мы сидѣли носомъ противъ носа,
Наконецъ, я обнялъ бѣднаго Барбоса,
И сказалъ: нельзя ли, братъ, во имя долга
Не ходить.—Но другъ мой только покосился
На меня, подумалъ и отворотился,
(У него, я помню, дрогнулъ подбородокъ)
Въ это время дикихъ утокъ цѣлый взводокъ
Пролетѣлъ надъ нами, такъ что я невольно
Вдругъ понюхалъ воздухъ, и вздрогнулъ и больно
Было мнѣ подумать... Богъ мой! какъ высоко
Вольныя летаютъ птицы! Какъ привольно
Имъ махать крылами!
Стая ихъ умчалась,
Другъ ушелъ, и что же, что при мнѣ осталось?!
Тотъ-же шестъ съ бадьею, то же все корыто,
Тотъ же дворъ съ лазейкой, тщательно прикрытой
Хворостомъ, чтобъ наша дворня не видала,

Какъ мы пролѣзаемъ, страстны и послушны
Тайнымъ побужденьямъ;.. Впрочемъ равнодушны
Были къ намъ и баринъ и его прислуга.
Черезъ день на псарню Богъ послалъ мнѣ друга;
Водолазъ былъ грустенъ и ни съ кѣмъ встрѣчаться
Не хотѣлъ, и камня тяжелѣй, и ночи
Пасмурнѣй лежалъ онъ, вверхъ поднявши очи.
Съ раннихъ лѣтъ давно я чувствовалъ, признаться,
Къ водолазу Магу нѣкое влеченье,
И подползъ къ нему я съ тѣмъ, чтобъ позволенье
Испросить ходить съ нимъ за лѣса къ озерамъ,
И, къ моимъ собачьимъ, глупымъ разговорамъ
Снисходя, разсѣять глупыя сомнѣнья...
Магъ былъ очень тронутъ этой симпатіей
Или этой просьбой, полной уваженья;
И своей косматой, вытянутой выей
Какъ бы обнялъ, то есть мордой мнѣ на шею
Оперся,—и я былъ счастливъ, я гордился.
Дорога была мнѣ дружба водолаза;
(Безъ него, быть можетъ, я бы удавился,)
А теперь, могу быть авторомъ разсказа —
Исторіографомъ нашихъ приключеній,
Такъ какъ между псами я конечно, геній.
Разбрелись герои;... но слѣдить за ними
Не легко мнѣ, если Муза не поможетъ.
Муза, только Муза, чудными своими
Взорами далеко проникая, можетъ,
Оттопыривъ уши, слышать, что творится
Въ самыхъ дальнихъ дебряхъ. Если шевелится
Ухо у богини, ноздри стали шире,
Взоръ горитъ,—могу я смѣло побожиться,

Что она все видитъ, все, что въ дольнемъ мірѣ
Въ норкахъ и берлогахъ глухо гомозится,
Кто кого кусаетъ, кто кого цѣлуетъ...
И тогда... я вѣрю, что восторжествуетъ
Геній мой, и пѣсенъ сладостная сила
Хоть на полминуты слухъ вашъ очаруетъ.
Вотъ, она взглянула на небо ночное,
На плечо мнѣ лапу свою положила:
—Вой, дерзай! сказала—словомъ вдохновила.

ГЛАВА XVII.

Не сошлись характерами.

Воспѣваю подвигъ Сайги и Ахилла.
И Ахиллъ и Сайга какъ нельзя серьезнѣй
Шли въ лѣсу дремучемъ, шли до самой поздней
Ночи, не встрѣчая ни души. Болтали,
Мяли ежевику, смоляныя шишки
Сосенъ, поднимая, тотчасъ же бросали,
Словомъ не играли ими какъ мальчишки.
Сайга помышляла: онъ герой, конечно,
Но меня глупѣе—въ этомъ нѣтъ сомнѣнья,
И себя ведетъ онъ слишкомъ безупречно,
Слишкомъ ретроградно: у меня-жъ умѣнья
Хватитъ передѣлать этого урода,
То есть, сдѣлать гусемъ нашего прихода.
А Ахилка думалъ: Боже! дай терпѣнья!
Уморитъ!—Ужели нѣтъ у этой амки
Ничего такого, что для каждой самки

Кажется завѣтнымъ—только разсужденья,
Выводы, да планы, да соображенья!..
Чортъ возьми! съ ума я спячу непремѣнно!
Такъ онъ молча думалъ, слушая смиренно
Спутницу, и молча удивлялся слогу
Книжному, которымъ Сайга выражалась.
Спутники искали по чутью дорогу,
Но чутьемъ едва-ли Сайга отличалась.
У Ахилла носъ былъ толстый и здоровый,
Но клыки и ноги были здоровѣе;
Выпачканный дегтемъ,—крѣпкій духъ сосновый
Онъ едва-ли чуялъ. Гуще и чернѣе;
Все чернѣе къ ночи были дебри лѣса,
Только сверху неба звѣздная завѣса
Черезъ переплеты сучьевъ чуть мерцала.
—Гдѣ же мы ночуемъ?—первая сказала
Сайга
—Гдѣ нибудь... А слышите потока
Шумъ, дождю подобный?.. Значитъ, недалеко
Бурые медвѣди. Коли мы посвищемъ—
Заревутъ.
—Молчите! Завтра мы ихъ сыщемъ!
А сегодня къ ночи закусить ужасно
Хочется.
— Поѣшьте что нибудь...
—Напрасно
Мы не ночевали въ камышахъ, сказала
Молодая Сайга: я бы тамъ поймала
Матерую утку. Ужинъ былъ-бы сытый.
—Жаль, что мы съ собой не взяли корыта
Тамъ на днѣ, я видѣлъ, кость была... клевала

Эту кость ворона...
—Если-бы я знала,
Что такой вы глупый, съ вами не пошла-бы—
—Не пошли бы...
Эхма! Женщины такъ слабы,
Что никакъ не могутъ жить безъ насъ. Пора-бы
Это знать имъ.
Сайга страшно разсердилась,
Но съ героемъ на ночь спорить не рѣшилась,
И, примявши мѣсто, въ кустикъ улеглася;
Тутъ же и Ахиллъ нашъ, о березу спину
Почесавъ, и этимъ вынудивъ вершину
Прошумѣть, усѣлся. Не прошло и часа,
Какъ Ахиллъ несчастный ноги раскорячилъ,
Вытянулся, раза два зѣвнулъ и началъ
Засыпать.
Подъ утро Сайга разбудила
Спящаго Ахилла и проговорила:
—Вы всю ночь проспали—экій вы невѣжда!
Вижу, что плохая мнѣ на васъ надежда!
—Я не спалъ-съ... Здѣсь ночью близко проходили
Матерые волки—сто волковъ—и выли,
Выли такъ ужасно, что морозъ по кожѣ
Подиралъ...
—Ну, это и на бредъ похоже.
Это вы все врете...
—Нѣтъ-съ! не вру. Вы спали,—
Продолжалъ Ахилка: яжъ и шевельнуться
Не дерзалъ, я слышалъ, какъ они дерутся,
Какъ глаза ихъ свѣтятъ злыми огоньками,
Какъ они, чего-то струсивъ, вдругъ скачками

Пронеслись и,—счастье, насъ не увидали...
Вы подъ этотъ кустикъ хвостикъ свой убрали,
А я вотъ за этимъ пнемъ стоялъ... Сознайтесь,
Что была опасность... Я заснулъ, конечно,
Но когда?—на зорькѣ.
— Ахъ, не завирайтесь!
Вы себя ведете, другъ мой, безупречно,
Спите превосходно, бредите не плоше,
Такъ какъ подобаетъ старому святошѣ.
Но скажу вамъ прямо: какъ цыганъ, вы врете...
Да-съ! Я не слыхала никакого воя,
Никакого волка не привелъ Богъ видѣть,
Стерегла всю ночь я спящаго героя,
Чтобъ его и крыса не могла обидѣть...
—Кто просилъ стеречь васъ храбраго Ахилла!
Рявкнулъ онъ (должно быть, въ немъ заговорила
Гордость.).
Словомъ, утро не было счастливо—
Началась размолвка. Къ полдню оскорбленный
Невниманьемъ Сайги, нашъ Ахиллъ тоскливо
Брелъ, впивая грудью воздухъ насыщенный
Влагой и листвою полуразнесенной
Бурями, и думалъ: удеру, ей-Богу,
Удеру! Вотъ только выйдемъ на дорогу—
Тягу дамъ! И скоро нашъ Ахиллъ заслышалъ
Шумъ воды. Спокойно на плотину вышелъ
И во всѣ лопатки убѣжалъ. Другая,
Если-бъ такъ нежданно вдругъ одна осталась,
Вѣрно бы смутилась или заметалась,—
Но не Сайга—Сайга была разбитная...
Проводивъ Ахилла взглядами, и зная,

Что его упрямства не переупрямить,
Выругалась только. Ей пришло на память
Мѣсто, гдѣ на травлѣ съ бариномъ когда-то
И она бывала, даже отличилась,
Перегнавши Стрѣлку, Берфу, Чума, Хвата,
Догнала зайченка и въ него вцѣпилась.—
Это было года три или четыре
Раньше—въ дни когда и Сайга въ цѣломъ мірѣ
Ничего не знала выше и прекраснѣй
Травли, (и тѣмъ лучше, чѣмъ она опаснѣй),—
Въ дни, когда и Сайга наизусть учила
Афоризмъ поэта: „Кто собакъ не любитъ
И не любитъ травли, тотъ заснитъ, погубитъ
Жизнь свою и душу“, - въ дни когда любила
Сайга цѣловаться съ ловчими и даже
Съ старымъ доѣзжачимъ... (съ тѣмъ что удавился).
Въ дни когда собаки были втрое глаже,
И когда самъ баринъ псарнею гордился.—
Эти дни казались ей ужь стариною
Мрачной, недостойной звѣрчества... Однако
Сайга не забыла мѣста, гдѣ когда то
Отличившись, грызла лапку супостата
То есть, лапку зайца... Такова собака...

ГЛАВА XVIII.

Новый провожатый.

Былъ тутъ недалеко хуторъ и, быть можетъ,
Тутъ никто изъ старыхъ псовъ не потревожитъ
Старую знакомку.
И на хуторъ смѣло,
Шлепая ногами, Сайга полетѣла.
Видитъ, сѣрый домикъ возлѣ буерака,
Влажная тропинка, сѣно и—собака,
Чертъ знаетъ, какая! Хвостъ—пучекъ, ошейникъ—
Ремешекъ какой-то, на боку—репейникъ,
И—кобель.
Глазами Сайга заиграла
И остановилась. Онъ ее сначала
Обошелъ, обнюхалъ и спросилъ: откуда
И куда?
— Къ медвѣдю въ гости.
— Что за чудо!
Для чего къ медвѣдю? Лучше къ намъ, къ намъ,
въ гости.
Утромъ были корки, къ ночи будутъ кости:
Наша Марфа жаритъ въ печкѣ поросенка.
— Очень буду рада,—улыбнувшись тонко
Отвѣчала Сайга (хитрая бабенка!..)
— Очень буду рада...
Кобелекъ былъ добрый,
Широко-лохматый, хоть и тонкоребрый:
Онъ борзую Сайгу самъ не полѣнился

Проводить до кухни, кой чѣмъ подѣлился,
И сталъ звать въ сарайчикъ; но она сказала:
Не могу—у Мишки надо быть сначала.
Если вамъ извѣстно, гдѣ къ нему дорога,
Если вы слыхали гдѣ его берлога—
Я вамъ буду очень благодарна, очень...
Кобелекъ былъ какъ-то странно озабоченъ
Или озадаченъ просьбою такою,
И сказалъ: недавно тутъ одинъ проклятый
Мишка къ намъ забрался въ пасѣку—завзятый
Воръ, каналья! Нашъ Памфилъ косою
Отъ него отбился и его поранилъ.
— Какъ! вскричала Сайга—онъ его тиранилъ!
Билъ!? И вы, собаки, вы не заступились! ?
— Мы ему, канальѣ, за вихры вцѣпились
И подрали шкуру...
— Шкуру! но за что-же?
— Не воруй.
— Ну, это на разбой похоже,
Возмутилась Сайга: мы бы цѣлый улей
Предложили Мишкѣ...
—Ну, а мы бы пулей
Изъ ружья на мѣстѣ его положили,
Да ружья-то нѣту,—было—да стащили
По веснѣ цыгане.
— Видите и люди
Иногда воруютъ; отчего-жъ медвѣдямъ
И не воровать! напротивъ слѣдуетъ сосѣдямъ
Помогать...
— Да кто ты? ужь не чортъ ли? Буди
Наше мѣсто свято!

— Чортъ меня боится,
Потому что въ немъ я вижу порожденье
Собственнаго страха. Если-же случится
Мнѣ да съ медвѣдями мирно сговориться,
Всѣ они поступятъ въ наше ополченье,
И тогда собакамъ радость и веселье,
Всѣмъ звѣрямъ—раздолье, людямъ—раззоренье.
Лѣсъ возьмутъ медвѣди, волки отъ овчарни
Поживутся, зайцы отъ капусты,—псарня
То есть мы, собаки, заберемъ подвалы,
Погреба, съѣстныя лавки, кладовыя,
И заставимъ стряпать поваровъ. Нахалы—
Люди стоятъ развѣ, чтобъ имъ предоставить
Всѣ земныя сласти!—Надо поубавить
Спѣси, и, конечно, звѣрчество поставить
На такую ногу, тьму такихъ условій
Сочинить, чтобъ ровно никакихъ сословій
Не было на свѣтѣ.

— Никакихъ!.. однако?!.
Ты того, я вижу... ты таки собака!
Да еще какая! Если будетъ это...
Честь тебѣ и слава, мы тебѣ за это
На горѣ поставимъ памятникъ...

— Не надо.
Каждый песъ разумный знаетъ, что награда
Въ немъ самомъ;—не надо памятникъ, не надо!..
Лучше покажи мнѣ, какъ найти дорогу
Къ вашему медвѣдю—покажи берлогу.
— Покажу, пожалуй...

— Сдѣлай одолженье,
— И коли окажетъ онъ тебѣ почтенье,

Черепа не сниметъ, я тогда, пожалуй,
И тебѣ повѣрю...
— Экій добрый малый—
Этотъ мужиченко!—молча разсуждаетъ
Наша героиня и за нимъ шагаетъ
По лѣсу.
Ужъ мѣсяцъ вышелъ и вершины,
Точно свѣтлой пылью, серебристо-блѣднымъ
Озарилъ сіяньемъ. По путямъ безслѣднымъ
Шли они, шли долго.
— Вонъ, у той куртины,
Гдѣ стоятъ всплошную березнякъ да ели,
Изъ-за бурелома, свѣтится изъ щели
Огонекъ... Онъ самый! Ну, прощай покуда...
И сопутникъ Сайги тягу далъ.
— Іуда!
Проворчала Сайга... У нея кружилась
Голова и сердце бозпокойно билось:
— Онъ! Его пещера!.. Или въ самомъ дѣлѣ
Я пришла къ медвѣдю?!.

Я. П. Полонскій.

Продолженіе будетъ.

ИЗЪ МОИХЪ ВОСПОМИНАНІЙ

Д. А. Григоровскаго.

Гл. I—IV.

ИЗЪ МОИХЪ ВОСПОМИНАНІЙ.

Подавай все! Все пойдетъ въ прокъ. Что тамъ? Веревочка? Давай и веревочку, и веревочка пригодится.
(Ревизоръ, дѣйств. 4 явл. 10).

I.

Родился я, какъ значится въ моемъ указѣ объ отставкѣ, въ 1814 году. Отецъ мой состоялъ тогда на службѣ въ Московской Синодальной типографіи, имѣлъ тамъ казенную квартиру, дрова, свѣчи (свѣчи, разумѣется, отпускались сальныя:—стеариновыхъ заводовъ тогда еще не было). Онъ-же имѣлъ еще жену, шесть человѣкъ дѣтей, содержалъ прислугу, а жалованья получалъ всего только 33 р. 33 к. ассигнаціями въ мѣсяцъ. Вотъ и живи тутъ на этотъ капиталъ съ семействомъ! а дѣлать нечего, жили...

По седьмому году посадили меня за азбуку, начали учить читать и писать—палки, а по десятому, отдали меня для *продолженія наукъ* въ Константиновское землемѣрское училище. Скверное тогда было это училище! Помѣщалось оно въ то

время въ Кремлѣ, въ зданіи Сената, подъ самымъ столбомъ, на коемъ гласила надпись: „Законъ“. Въ то время поступали туда большею частію дѣти благородныхъ но бѣдныхъ родителей, къ отрасли которыхъ имѣлъ честь принадлежать и я. Отдавали же туда бѣдные родители бѣдныхъ дѣтей своихъ не ради науки, такъ какъ въ то время трудно было тамъ выучиться чему нибудь, а просто отдавали насъ ради того, что тамъ каждому ученику выдавалось ежемѣсячно по 10 р. ассигн. на его содержаніе, за которые по окончаніи курса, обязанъ онъ былъ отслужить казнѣ не менѣе шести лѣтъ. И вотъ эти то десятирублевки и заставляли нашихъ родителей бросать своихъ дѣтей въ эту якобы школу, въ которой они и гибли, не получая ровно никакихъ знаній, кромѣ умѣнья таскать цѣпь, держать вѣху, да наводить ромбъ. Но не долго, впрочемъ, пришлось намъ сидѣть здѣсь; скоро насъ выгнали оттуда по слѣдующему обстоятельству.

Въ одномъ корридорѣ съ нашимъ училищемъ было еще другое училище — Архитектурное. Однажды, по какой то случайности, оба училища были распущены изъ классовъ въ одно и тоже время; мальчики затѣяли между собой драку, межевщики напали на архитекторовъ, архитекторы струсили и побѣжали, межевщики за ними... Въ это время какой то старичекъ сенаторъ шелъ на встрѣчу; толпа налетѣла на него, сшибла съ ногъ старика и чуть не раздавила. И вотъ, чтобъ не повторилось подобное крушеніе, начальство и распорядилось раз-

вести буяновъ подалѣе одинъ отъ другаго, и насъ, какъ зачинщиковъ, помѣстили въ купленномъ Межевой Конторой домѣ у Троицы на Хохловкѣ, гдѣ и существовало училище до того времени, пока не преобразовали его въ Межевой Институтъ.

И такъ—главная польза отъ нашего тамъ воспитанія была лишь та, что получаемыя нами десятирублевки шли въ помощь къ скудному содержанію, получаемому нашими отцами; на мое же содержаніе не тратилось и половины получаемаго мною жалованья; частенько случалось мнѣ ходить въ школу въ сапогахъ на собственныхъ подошвахъ, что въ осеннюю пору мнѣ крайнѣ не нравилось. Впрочемъ, нѣтъ худа безъ добра. Это спартанское воспитаніе послужило мнѣ отчасти и въ пользу: оно пріучило меня терпѣливо переносить и голодъ и холодъ, и сдѣлало то, что мнѣ вотъ уже минуло 78 лѣтъ, а я до сихъ поръ не знаю никакихъ лихихъ болѣстей.

И такъ, кое-какъ отсидѣлъ я въ межевой школѣ цѣлыхъ шесть лѣтъ!.. Шутка сказать, шесть лѣтъ! Лучшихъ лѣтъ для научнаго образованія... А вышелъ я оттуда такимъ же невѣждой и дуракомъ, какъ и поступилъ туда, если еще не глупѣе. Теперь другое дѣло; теперь это училище, переименованное въ Межевой Институтъ, заслуженно пользуется такими же правами, какъ и Университеты.

Въ 1824 году скончался въ Таганрогѣ Императоръ Александръ I.

По окончаніи траура начались приготовленія къ предстоящей коронаціи Императора Николая. По этому случаю потребовалось много квартиръ для членовъ Св. Синода. И вотъ—всѣхъ чиновниковъ изъ Синодальной типографіи, точно на покаяніе, перевели въ Ивановскій, бывшій когда-то женскій монастырь, въ тотъ самый монастырь, въ которомъ по повелѣнію Императрицы Екатерины II была заключена извѣстная звѣрскимъ обращеніемъ съ своими крѣпостными людьми-помѣщица Салтыкова, по народной кличкѣ „Салтычиха“. Страшно было слушать разсказы стариковъ о тѣхъ тиранствахъ, которыя она продѣлывала съ своими дворовыми и крѣпостными людьми. Я видѣлъ ея помѣщеніе: это была небольшая комнатка, или, лучше сказать, клѣтка съ маленькимъ желѣзно - рѣшетчатымъ оконцемъ, выходящемъ въ трапезу. Въ это оконце и подавалась ей пища: хлѣбъ и вода. Голодъ раздражалъ ее и доводилъ почти до бѣшенства, такъ что она во время службы, если кто изъ любопытства подходилъ къ ея окну, чтобы взглянуть на нее, плевала подходящему въ лицо.

Долго-ли она содержалась въ томъ заключеніи, тамъ-ли она умерла, какая была ея кончина, гдѣ похоронена?—словомъ вся дальнѣйшая карьера ея, осталась для меня неизвѣстною. Въ молодости мнѣ не приходило на мысль разспросить обо всемъ этомъ у старика разскащика очевидца, о чемъ теперь очень сожалѣю.

Недавно случайно зашелъ я въ этотъ монастырь, по прежняго тамъ уже нѣтъ и слѣда; вмѣсто ста-

риннаго храма, воздвигнутъ новый, и приходская церковь переименована теперь вновь по старому въ женскую обитель.

Послѣ смерти отца (онъ умеръ въ 28 году) десятирублевая помощь оказалась недостаточной къ нашему существованію. Надо было предпринять что нибудь другое; вотъ и предпринялъ я выбраться какъ можно скорѣе изъ Межеваго училища и поступить куда нибудь на службу. Случай помогъ мнѣ вскорѣ поступить въ находящійся тогда въ Москвѣ магазинъ Императорскихъ фарфоровыхъ и стеклянныхъ заводовъ помощникомъ коммисіонера, съ окладомъ жалованья по 300 руб. въ годъ, и чиномъ подканцеляриста.

Прослуживъ года два въ магазинѣ, я перешелъ на службу въ Московскую Дворцовую Контору и попалъ въ общество блестящей молодежи. Товарищами моими были между прочимъ два брата Герцены: Александръ и Жоржъ. Первый мнѣ очень нравился. Онъ былъ молодъ, недуренъ собой, имѣлъ замѣчательный даръ слова,—слушать его было просто наслажденіе; все это привязывало меня болѣе къ нему, а не къ Жоржу. О другихъ же графахъ и князьяхъ, моихъ сослуживцахъ—говорить ничего не буду: въ нихъ кромѣ чванства ничего я, по крайней мѣрѣ въ отношеніяхъ ко мнѣ, не замѣчалъ. Легко имъ было служить, имѣя обезпеченныя средства къ существованію, а вотъ мнѣ, голяку, и жить и служить было ой, ой, какъ не легко!..

Но Богъ не безъ милости, а свѣтъ не безъ добрыхъ людей, говоритъ родная пословица, и, дѣйствительно, Богъ явилъ свою милость и моей матери и мнѣ, Онъ же послалъ намъ и добраго человѣка. Человѣкъ этотъ былъ родной братъ моей матери Ив. Ив. Ястребцовъ. Пріѣхавъ изъ Петербурга въ Москву, онъ устроилъ всю нашу семью: двухъ моихъ сестеръ—выдалъ замужъ, двухъ меньшихъ братьевъ—помѣстилъ въ Московскій Дворянскій пансіонъ—цансіонерами Государя Императора, а меня, (мнѣ тогда минуло 20 лѣтъ), отправилъ на службу въ Питеръ....

II.

Въ первыхъ числахъ января 1835 года выѣхалъ я изъ Москвы, и только на пятые сутки нашъ дилижансъ въѣхалъ въ Петербургъ и высадилъ насъ на Обуховскомъ проспектѣ, гдѣ тогда существовала контора этихъ дилижансовъ.

Вотъ я и въ Петербургѣ!.. Боже! какая разница — Москва и Петербургъ! Такъ думалъ я, смотря на этотъ городъ. Все поражало меня: широта и прямизна улицъ, и громадность зданій, и чистота и опрятность города; болѣе же всего поражалъ меня самый людъ Петербурга!... Гдѣ же, спрашивалъ я самъ себя, гдѣ же нашъ русскій народъ? Гдѣ наши мужички—лапотнички? Это все какіе то иностранцы! ни звука русскаго, ни русскаго словца, ни русской брани, которой такъ бо-

гатъ нашъ православный, ни русской—лопатой бороды; у всѣхъ бритые подбородки, всѣ на тонкой деликатности... и какое множество народа!... Все это скачетъ, бѣжитъ, торопится куда то... Господи, какая дѣятельность! Вотъ гдѣ жизнь-то! продолжалъ думать я. Но какъ ни красивъ, какъ ни наряденъ казался мнѣ Петербургъ, а меня все же опять влекло на родину въ мою матушку—Москву!

Пріѣхавъ въ Петербургъ, я остановился у брата. Братъ мой служилъ въ Св. Синодѣ, гдѣ и имѣлъ квартиру. Женатъ онъ былъ на дочери бюрократа, въ семейство котораго и ввелъ меня. Я думалъ, что меня примутъ тамъ, какъ роднаго, по Московски, съ распростертыми объятіями, но жестоко ошибся. Меня встрѣтили какъ-то особенно, и такимъ холодомъ обдало меня это первое свиданіе, что, уходя, я далъ было себѣ слово не являться болѣе въ этотъ домъ. Но обстоятельства такъ сложились, что этого исполнить было невозможно. Послѣ уже я узналъ, что это такъ и слѣдуетъ, что Петербургъ не Москва, что здѣсь надъ поцѣлуями смѣются, что здѣсь каждый думаетъ только о себѣ, а ласковый пріемъ оказываютъ только тѣмъ, кто можетъ быть чѣмъ нибудь полезенъ; ну, а отъ меня какая могла быть польза? кому?!.

Не сладко жилось мнѣ у брата!.. Ясно видѣлъ я, что стѣсняю и безъ того маленькую его квартирку, значитъ, лишній былъ въ его домѣ;—а сознавать притомъ, что я молодой, здоровый парубокъ, могущій работать и имѣть свой трудовой

кусокъ хлѣба, а живу какъ бы изъ милости, на хлѣбахъ у брата—положеніе не завидное'

И вотъ, когда я изнывалъ, сознавая всю нестерпимость моего положенія, на выручку является изъ Москвы тотъ-же дядя мой И. И. Ястребцовъ; онъ, увидя мое некрасивое положеніе, предложилъ мнѣ перебраться на житье къ нему. Я, разумѣется, съ радостію и благодарностію принялъ его предложеніе и въ тотъ-же день поселился въ его квартирѣ. Онъ же помогъ мнѣ поступить и на службу въ Департаментъ Внѣшней Торговли, съ жалованьемъ по 25 рублей въ мѣсяцъ, а по переложеніи ассигнацій на серебро, я сталъ получать по 7 рублей. Но и при микроскопической цифрѣ моего жалованья, готовая квартира и столъ—составляли для меня значительную поддержку.

Дядя мой былъ человѣкъ холостой, одинокій и имѣлъ порядочное состояніе, которое пріобрѣлъ литературнымъ трудомъ. Переводы его: Массиліона, Таулера и другихъ писателей—доставили ему, кромѣ хорошихъ денежныхъ средствъ, и званіе Члена Академіи Наукъ; сверхъ этого онъ получалъ еще пансіонъ по двумъ вѣдомствамъ: какъ Членъ Кабинета Его Величества — 3000 рублей, и по службѣ въ Синодѣ—столько-же; а въ то время на эти средства жить было можно, и онъ жилъ—къ чести его сказать—весьма порядочно.

Постоянными посѣтителями моего дяди были: Панаевъ Вл. Ив. Директоръ Канцеляріи Министра Двора, писатель элегій, Лобановъ — переводчикъ разныхъ драмматическихъ писателей, Тур-

геневъ Александръ Ивановичъ — родной дядя Ив. Серг. Тургенева, Красовскій—главный и знаменитый цензоръ того времени, книгопродавецъ — издатель Смирдинъ, два Протоіерея: Павской, О. Архимандритъ изъ саперъ Игнатій, и Турчаниновъ. Послѣдній извѣстенъ былъ, какъ композиторъ духовныхъ пѣсенъ. Его „Отче нашъ", какъ лучшее изъ его произведеній, исполняется и теперь во всѣхъ церквахъ во время торжественныхъ служеній, а Павскій былъ законоучителемъ Государя Наслѣдника, но по настоянію Петербургскаго Митрополита Серафима—былъ замѣненъ другимъ законоучителемъ. Причиной тому, какъ говорили тогда, была зависть. Государь любилъ Павскаго...

Изъ прекраснаго пола чаще другихъ посѣщала его одна добрая барыня, Марья Романовна. Очень добрая! Ей я обязанъ былъ многимъ въ моей жизни, но объ ней пока рѣчь впереди; объ ней буду говорить когда дойдетъ до нея очередь, а теперь—о другихъ друзьяхъ моего дяди.

Изъ названныхъ лицъ, болѣе всѣхъ интриговалъ меня Красовскій. Это былъ человѣкъ замѣчательный! Начать съ того, что, дослужившись до чина Тайнаго Совѣтника, онъ во всю свою жизнь, какъ говорятъ, не былъ знакомъ ни съ одной женщиной; онъ просто бѣгалъ отъ нихъ, а по своей должности Цензора до того былъ остороженъ, что часто доходилъ до смѣшнаго. Изъ числа многихъ курьезовъ приведу хотя одинъ для примѣра XI. Г. Каратыгинъ, хорошій мой знакомый, представилъ ему рукопись своей повѣсти, въ ко-

торой была такая фраза: „въ молодости моей“, говоритъ дядя своему племяннику, „любилъ я одну женщину“. Ну что кажется было въ этой фразѣ нецензурнаго? А г. Красовскій нашелъ. Онъ замѣнилъ: „женщину“ „особой“. Получивъ обратно рукописъ, авторъ спросилъ Красовскаго, почему онъ это сдѣлалъ? Красовскій отвѣтилъ: потому, что любить женщину безнравственно!.. Да вѣдь и Вы, Ваше Превосходительство, тоже „особа“, возразилъ авторъ..! Но довольно объ этомъ чудакѣ-цензорѣ; мнѣ еще много предстоитъ внести въ мои скрижали болѣе любопытнаго.

Два года прожилъ я у дяди и ничѣмъ не занимался, билъ баклуши. Видя мою безпечность, сколько разъ, бывало, говорилъ онъ мнѣ: „Иванъ, да подумай ты о себѣ, о своемъ будущемъ Вѣдь не вѣчно же тебѣ житъ у меня! Положимъ, что ты мнѣ не въ тягость, но вѣдь я могу умереть, могу уѣхать; ну куда ты пойдешь, что съ тобой будетъ“? А я, какъ тотъ котъ, которому поваръ грамотѣй читалъ нравоученіе,—„а Васька слушаетъ да ѣстъ“,—по-прежнему продолжалъ бить баклуши, а о будущемъ отложилъ всякое попеченіе.

Въ молодости меня всегда удивляла, да признаюсь, и теперъ еще удивляетъ забота людей о будущей жизни, да не о той жизни, которая будетъ *тамъ*, за гробомъ, и о которой дѣйствительнослѣдовало-бы подумать; нѣтъ, удивительно, что они думаютъ только о томъ будущемъ, какъ бы скорѣе выбраться на дорогу, получить тепленькое мѣстечко, за-

работать копѣйку, да такъ заработать, чтобы хватило и на черный день, чтобы и въ старости хватило имъ что жевать, тогда какъ, можетъ быть и зубовъ то у нихъ уже не будетъ!.. Странные люди! Забываютъ слова Спасителя, Учителя нашего, который сказалъ: „Не заботьтесь о томъ, что вамъ ѣсть, или пить и во что одѣваться, Отецъ вашъ Небесный знаетъ, что во всемъ этомъ имѣете вы нужду“. Я всегда глубоко вѣрилъ словамъ Божественнаго Учителя, и вотъ живу, не заботясь даже о завтрашнемъ днѣ, а ѣмъ и пью и благодарю Его за вся и за все!..

„Я могу умереть, могу уѣхать,“ говорилъ мнѣ мой дядя, заставляя меня подумать о будущемъ... и, дѣйствительно, пришлось мнѣ и подумать...

Нежданно, негаданно вдругъ пріѣзжаютъ изъ Москвы мои двоюродныя сестрицы. Погостили, посмотрѣли Питеръ, собрались и уѣхали въ Москву, да и дядю увезли съ собой, и остался я одинъ...

Что дѣлать, какъ быть, куда бѣжать, тоску дѣвать? На одно жалованье существовать трудно, да и то за мѣсяцъ взято впередъ, а запаснаго капитала—ни сантима!.. Плохо дѣло выходитъ, просто дрянь!

Не знаю, теплая-ли моя вѣра и надежда на Бога, что Онъ не оставитъ меня, или молитвы моей матери, которыя, какъ говоритъ народъ, спасаютъ дѣтей даже изъ пропасти, или ужъ такая моя счастливая планида, только всегда случай выручалъ меня въ минуты жизни трудныя, какъ выручилъ и теперь.

III.

Дядя уѣхалъ! Проводивъ его, въ тотъ-же день отправился я къ Смирдину, говорю: дядя уѣхалъ въ Москву, я остался одинъ; нѣтъ-ли у васъ какого мнѣ занятія?

„Да вотъ, говоритъ Смирдинъ, вамъ занятіе: переѣзжайте ко мнѣ, будете вести переписку съ иногородными подписчиками, записывать ихъ требованія въ книгу, да еще, если мнѣ случится надобность попросить васъ съѣздить за меня къ кому-нибудь изъ литераторовъ поговорить о статьѣ для журнала, или что другое; службу же свою вы можете продолжать и занимаясь у меня. Что-же, согласны“?

Чего-же, думаю, лучше? разумѣется, согласился и въ тотъ-же день перебрался къ нему, со всѣмъ моимъ имуществомъ. А имущества то у меня тогда было немного: вицъ-мундиръ, штаны, пара сапогъ, да двѣ-три рубашки, остальное же имущество все было на мнѣ.

Живу я у Смирдина, занимаюсь своимъ дѣломъ, веду переписку съ иногородними подписчиками, записываю ихъ требованія о высылкѣ имъ книгъ, газетъ и журналовъ, получаю за свой трудъ приличное вознагражденіе, но порученій съѣздить къ кому либо изъ литераторовъ, еще не получалъ. А больно хотѣлось мнѣ побывать у нихъ, поговорить съ ними, посмотрѣть, какъ они живутъ, похвастаться передъ своими знакомыми, что „вотъ

де я бываю у такихъ-то и такихъ литераторовъ, что я бываю и у *самаго* Сеньковскаго". Сеньковскій былъ тогда въ большой модѣ!

Наконецъ желаніе мое исполнилось. Смирдинъ далъ порученіе отправиться къ Панаеву—перегорить съ нимъ насчетъ его статьи и портрета для перваго тома „Ста Литераторовъ." Съ Панаевымъ встрѣчался я когда-то у моего дяди, но съ тѣхъ поръ прошло болѣе года; изъ Москвы дядя уѣхалъ въ Ревель, тамъ заболѣлъ и умеръ. Полагая, что Панаевъ забылъ о моемъ существованіи, я, отправляясь къ нему, не позаботился одѣться поприличнѣе, а такъ какъ былъ, придя со службы, въ старенькомъ вицъ-мундирѣ и направился къ нему. Удачно окончивъ свое порученіе, я хотѣлъ уже уходить, какъ Панаевъ остановилъ меня вопросомъ: „скажите, пожалуйста, лицо мнѣ ваше какъ будто знакомо; мнѣ кажется, что я гдѣ-то встрѣчалъ васъ"? „Ваше Превосходительство", отвѣчалъ я, „изволили встрѣчать меня въ домѣ покойнаго моего дяди, Ив. Ив. Ястребцова". „Ахъ Боже мой"! вскричало Его Превосходительсто, „постойте, не уходите, пойдемте сюда",—и изъ пріемной повелъ меня въ гостинную, ласково предложилъ мнѣ сѣсть рядомъ съ нимъ на диванъ, сталъ разспрашивать о дядѣ, о его кончинѣ и проч. и проч. Потомъ сталъ спрашивать меня о службѣ, какое занимаю мѣсто, гдѣ служу?

„Служу въ Департаментѣ Внѣшней Торговли, а мѣсто занимаю канцелярскаго служителя, такъ какъ со смерти дяди, я уже не имѣю протекцій".

„А мы то на что-жъ“? сказалъ онъ, „мы друзья вашего дяди, слѣдовательно теперь наша обязанность замѣнить вамъ его. У меня ли откроется вакансія, или у Александра Максимовича Княжевича—Директора канцеляріи Министра Финансовъ, онъ тоже былъ другомъ вашего дяди,—вы только старайтесь теперь узнавать, гдѣ будетъ открываться подходящее для васъ мѣсто, а тамъ ужь будетъ наше дѣло устроить васъ. Ну, прощайте! Мнѣ пора, у меня сегодня докладъ Министру. Прощайте, прощайте“, повторилъ онъ нѣсколько разъ.

„Эко счастье привалило“! думалъ я выходя отъ Панаева. „Вотъ Господь послалъ нежданно—не гаданно какого благодѣтеля“! И, какъ Сквозникъ-Дмухановскій тоже мечталъ скоро зашибить и генеральскій чинъ, и повѣсить кавалерію,—только колебался—какую..?

И въ тотъ-же день, обрадованный пріемомъ Панаева и его обѣщаніемъ вывести меня на дорогу, отправился я въ Александровскій театръ на первый дебютъ г-жи Дюръ. Театръ былъ полонъ, Дюръ имѣла громадный успѣхъ! Мѣсто случайно удалось мнѣ заполучить во 2-мъ ряду креселъ. Выходя изъ театра встрѣтилъ я моего благодѣтеля, сидящаго въ послѣднихъ рядахъ; я вѣжливо поклонился ему, но онъ или не узналъ меня, или не замѣтилъ,—не отвѣтилъ на мой поклонъ.

Вскорѣ послѣ этаго я получилъ свѣденіе, что въ канцеляріи Министра двора открывается вакансія помощника столоначальника. Въ полной увѣ-

ренности, помня обѣщаніе Панаева, что это мѣсто за мной, надѣваю новый фракъ, повязываю бѣлый галстухъ, беру перчатки, цилиндръ и на всѣхъ парусахъ лечу къ моему благодѣтелю, являюсь и... о ужасъ!

Его Превосходительство, не отвѣчая на мой почтительный поклонъ, грозно спросилъ меня: „что вамъ нужно? Зачѣмъ вы пришли ко мнѣ“?

„Ваше Превосходительство, робѣя отвѣтилъ я, сами изволили приказать, что когда я узнаю объ открывшейся вакансіи“...

„Какая тамъ у меня вакансія“? еще строже спросилъ онъ меня.

„Бѣгичевъ, говорю я, сегодня подаетъ въ отставку, онъ уѣзжаетъ въ деревню“.

Подумавъ немного, Панаевъ повелъ такую рѣчь: „знаете ли вы, мой почтеннѣйшій, что я перемѣнилъ о васъ мое доброе мнѣніе. Въ первый разъ, когда вы были у меня по порученію Смирдина, вы такъ скромно были одѣты, такъ прилично держали себя и вдругъ—въ тотъ же день я вижу васъ въ театрѣ, вы такъ важно сидите въ первыхъ рядахъ креселъ, одѣты бариномъ, рядомъ съ вами сидятъ Генералы!.. Ну, куда вы лѣзете? Кто вы и что вы такое? Канцелярскій чиновникъ... Я удивляюсь вамъ, какъ вы позволяете себѣ.....!

Тутъ мало по малу сталъ стихать его гнѣвъ, и кончилъ онъ тѣмъ, что велѣлъ мнѣ явиться въ его канцелярію для испытанія моихъ способностей.

„Приходитете туда завтра, сегодня я сдѣлаю о васъ распоряженіе: тамъ я посмотрю; а если вы

окажетесь способнымъ, то я подумаю"... обернулся и ушолъ!

„Вотъ тебѣ и генеральскій чинъ! Вотъ тебѣ и кавалерія! Ай да благодѣтель! Спасибо, оказалъ протекцію"!.. Такъ, удирая отъ него, разсуждалъ я самъ съ собой, вплоть до самой моей квартиры.

Два дня ходилъ я на испытаніе, составилъ двѣ —три записки по важнымъ дѣламъ: объ уничтоженіи прачечныхъ да о переводѣ изъ одного корпуса въ другой ретирадныхъ мѣстъ и подалъ къ докладу. Приказали: „явиться къ Его Превосходительству на квартиру".

Отправляясь къ Панаеву по приказанію, я взялъ съ собой и его письма, которыя онъ писалъ когда-то къ моему дядѣ.

Прихожу, говорю: „изволили приказать"...

„Да, перебилъ онъ меня; но я все еще опасаюсь принять васъ на службу, хотя и видѣлъ ваши записки. Составлены онѣ недурно и, если бы вы захотѣли посвятить себя дѣлу, то изъ васъ современемъ можетъ быть и вышелъ бы дѣльный чиновникъ"...

„И такъ даете-ли слово исправиться"?

„Въ чемъ же мнѣ исправиться, Ваше Превосходительство", спрашиваю я?

„А въ томъ, чтобъ не совать своего носа туда, куда не слѣдуетъ ни по вашему положенію, ни по чину, ни по воспитанію, ну, словомъ по всему"!

„Ну, думаю, если ты теперь, когда я еще не служу подъ твоимъ начальствомъ, говоришь мнѣ такія любезности, то чего же ожидать мнѣ въ бу-

дущемъ"? да и говорю: „осмѣлюсь доложить Вашему Превосходительству, что я пришелъ не затѣмъ, чтобы просить зачислить меня на открывшуюся вакансію, но только—поблагодарить васъ, за обѣщаніе оказать мнѣ вашу протекцію. Я нахожу выгоднѣе оставаться по прежнему въ Департаментѣ и заниматься дѣлами Смирдина. А затѣмъ—позвольте возвратить вамъ ваши письма, которыя вы писали къ моему дядѣ". Передавъ ему конвертъ съ письмами, поклонился и вышелъ.

Вотъ что было нисано въ этихъ письмахъ: въ нихъ Панаевъ вспоминаетъ то время, когда онъ, кончивъ курсъ въ Казанскомъ университетѣ, пріѣхалъ въ Петербургъ, не имѣя ни знакомыхъ, ни средствъ къ существованію. Описывалось далѣе какъ онъ случайно познакомился съ дядей, какъ тотъ принялъ въ немъ участіе, какъ помогалъ ему и какъ наконецъ помогъ ему получить хорошее мѣсго.

Хотѣлось бы мнѣ знать, не упрекнула ли его совѣсть, по прочтеніи своихъ писемъ, въ томъ, что онъ отказалъ въ такихъ пустякахъ племяннику того человѣка, который когда-то, дѣлалъ ему такъ много одолженій?

Къ Смирдину я поступилъ въ то время, когда онъ былъ на верху славной своей дѣятельности. Считаю здѣсь не лишнимъ сказать нѣсколько словъ о томъ, какъ онъ достигъ этой извѣстности.

Въ Петербургѣ, близь Синяго Моста, существовала когда то книжная лавка Плавильщикова. Въ эту лавку для обученія книжной торговлѣ отданъ былъ въ мальчики А. Ф. Смирдинъ. По про-

шествіи нѣсколькихъ лѣтъ, неусыпными трудами, честностью и знаніемъ дѣла, обратилъ онъ на себя вниманіе хозяина, который и сдѣлалъ его главнымъ прикащикомъ; а въ концѣ концовъ Плавильщиковъ, умирая, оставилъ завѣщаніе, въ которомъ, распредѣляя свое имущество, между прочимъ изъявилъ свою волю, что книжный его магазинъ, въ полномъ своемъ составѣ долженъ перейти ни къ кому другому, какъ только къ нему— Смирдину, и притомъ—за цѣну, какую бы онъ ни предложилъ. Смирдинъ не воспользовался этимъ правомъ, а заплатилъ наслѣдникамъ сполна все, что слѣдовало заплатить. И вотъ, такимъ образомъ, онъ сдѣлался полнымъ хозяиномъ той лавки, въ которую нѣсколько лѣтъ назадъ поступилъ мальчикомъ.

Вскорѣ послѣ того Смирдинъ перевелъ свою лавку отъ Синяго Моста на Невскій Проспектъ, въ домъ Петропавловской церкви. Скоро небольшая его лавка превратилась вдругъ въ громадный магазинъ, который занялъ собой цѣлый этажъ.

Въ томъ же магазинѣ Смирдинъ открылъ и библіотеку для чтенія книгъ, журналовъ и газетъ, которая по числу находящихся въ ней экземпляровъ была единственной въ Петербургѣ. Здѣсь кстати не могу пройдти молчаніемъ о завѣдывавшемъ библіотекою г. Фроловѣ.

Фроловъ обладалъ удивительной памятью! Въ библіотекѣ по каталогу имѣлось нѣсколько тысячь книгъ. Если кто, бывало, проситъ его выдать книгу, назвавъ ея заглавіе, то онъ скажетъ мальчику

№, подъ которымъ она находится и—въ какомъ шкафу. Былъ со мной такой случай. Одинъ мой знакомый просилъ меня взять изъ библіотеки для него книгу объ онанизмѣ; я, не желая при посторонних подписчикахъ, въ числѣ которыхъ были и женщины, объявить заглавіе книги, прибѣгъ къ хитрости, отыскалъ въ каталогѣ №, и потребовалъ выдачи книги подъ такимъ то №. Фроловъ улыбнулся и громко крикнулъ мальчику, находящемуся въ другой комнатѣ: „Семенъ! г. Григоровскому книгу объ онанизмѣ“! Нечего сказать, удружилъ!..

Открытіе своего магазина Смирдинъ праздновалъ новосельемъ. За огромнымъ столомъ собралось все, чѣмъ тогда могла похвастаться наша литература! Тутъ были: Жуковскій, Крыловъ, Пушкинъ, Княжнинъ, Графъ Хвостовъ, Лобановъ. Были и неразрывные друзья, какъ Гречъ и Булгаринъ, про которыхъ кто-то сказалъ, что „ихъ чортъ связалъ такъ крѣпко, что даже и Богъ не развяжетъ! Были и непримиримые враги, какъ Полевой и Воейковъ, и многіе другіе...

Помню Пушкинъ, замѣтивъ Жуковскаго сидящимъ между Полевымъ и Воейковымъ, обратясь къ нему сказалъ: „вы Василій Андреевичъ, сидите тамъ точно Христосъ на Голгофѣ!“

Гости шумно пировали, остроты и каламбуры сыпались со всѣхъ сторонъ. Подали шампанское. Гречъ, высоко поднявъ свой бокалъ, провозгласилъ первый тостъ за процвѣтаніе Русской Литературы! Гости крикнули: „ура“! Булгаринъ, выпивъ свой бокалъ, оборотилъ его себѣ на голову; (славянскій

обычай) Гречъ-же, замѣтя это, подвинулъ ему бутылку и сказалъ: „ну, что ты переливаешь тамъ изъ пустаго въ порожнее; наливай и выпьемъ за здоровье дорогаго хозяина“!

Графъ Хвостовъ, при сей оказіи, прошамкалъ стихотвореніе, которое тутъ же было записано какимъ-то борзописцемъ, тутъ же процензуровано, набрано отпечатано—и уже за дессертомъ было роздано всѣмъ присутствующимъ это мороженое! Одинъ изъ гостей прочтя это стихотвореніе, сказалъ:

„Смѣюсь, когда стихи начнетъ онъ мнѣ читать
„И плачу, какъ въ Сенатъ онъ ѣдетъ засѣдать“!
(Хвостовъ былъ Сенаторъ и поэтъ).

Гости съ своей стороны не остались въ долгу у хозяина. Каждый изъ нихъ, вмѣсто хлѣба-соли, подарилъ ему на новоселье по статьѣ изъ своихъ произведеній, которыя онъ и издалъ въ 3-хъ томахъ, назвавъ какъ 1-й, такъ и послѣдній „Новосельемъ“. Первый былъ изданъ въ 1833 г., 2-й въ 34, а послѣдній въ 37 году.

Съ этаго времени началась лучшая пора дѣятельности Смирдина. Журналъ, издаваемый имъ, Библіотека для чтенія, подъ редакціей Сеньковскаго, расходился въ числѣ пяти тысячъ экземпляровъ. Было бы и больше, если бы запоздавшимъ подписчикамъ не высылались деньги обратно, а таковыхъ было довольно много. Журналъ былъ въ большомъ требованіи, публика читала его съ жадностію, да оно и понятно, такъ какъ всѣ лучшія литературныя силы того времени принимали въ немъ участіе. Смирдинъ не жалѣлъ денегъ. Онъ платилъ авто-

рамъ за оригинальныя статьи по 400 и по 500 руб. съ листа, а за переводныя по 200 и по 300 руб. А такимъ поэтамъ, какъ: А. С. Пушкинъ, В. А. Жуковскій и И. А. Крыловъ платилось по червонцу за строчку. И вотъ—на хорошо платимый гонораръ стали слетаться, какъ мотыльки на свѣчку, писатели отовсюду. Появился на листкахъ журнала и Кукольникъ, только что прославившійся тогда своей драмой: „Рука Всевышняго Отечество спасла". Драма эта, при хорошемъ тогда составѣ труппы, розыграна была превосходно и понравилась Государю. Авторъ получилъ хорошій подарокъ, а Полевой, за критику—строгій выговоръ!

Смирдинъ былъ чрезвычайно самолюбивъ, довѣрчивъ и добръ. И вотъ эта то доброта и довѣрчивость и были причиной его гибели. Явились льстецы, стали кадить ему, называть его Наполеономъ книжной торговли, навязывать свои произведенія: романы, повѣсти, сказки, которыя онъ скупалъ у нихъ, печаталъ, а потомъ сваливалъ въ кладовыя, такъ какъ на покупку ихъ охотниковъ являлось мало. Два только изданія были ему не въ убытокъ: стихотворенія графа Хвостова и записки Кавалеристъ — дѣвицы Дуровой. Первыя скупалъ всѣ самъ авторъ, а послѣднія всѣ разошлись въ публикѣ.

Замѣчательная личность была эта Кавалеристъ дѣвица? Оригиналенъ былъ и костюмъ ея: черный однобортный казакинъ застегнутый до верху, съ георгіевскимъ крестомъ на груди, черный высокій галстухъ до ушей, широкіе штаны, волосы на го-

ловѣ острижены подъ гребенку, лицо старое въ морщинахъ, ни усовъ, ни бороды! „Что за уродъ“, думалъ я, смотря на нее въ первый разъ, не зная что уродъ этотъ и есть госпожа Дурова, Кавалеристъ-дѣвица! Тутъ въ магазинѣ мы и познакомились. Однажды, выходя изъ магазина, мы шли по Невскому; у трактира Палкина она остановилась и предложила мнѣ зайдти съ ней выпить по рюмкѣ горькой водки. Я согласился, вошли и—о женская натура! Прежде чѣмъ выпить водки, она подошла къ зеркалу, поерошила свою стриженую голову, поправила галстухъ, ленточку Георгія и потомъ уже выпила водки, спросила трубку Жукова и усѣлась за чтеніе „Инвалида“.

Между многими посѣтителями библіотеки и магазина Смирдина нравилась мнѣ въ особенности личность уважаемаго всѣми героя, ветерана и Инвалида-писателя Ивана Степановича Скобелева, коменданта Петропавловской крѣпости, дѣдушки послѣдняго нашего героя—Скобелева.

Съ Иваномъ Степановичемъ познакомился я до поступленія моего къ Смирдину на одной изъ станцій между Москвой и Петербургомъ. Ѣхалъ я съ экстра-почтой, а онъ за нами въ своемъ экипажѣ, и вотъ въ одномъ мѣстѣ случилась остановка. Скобелевъ спросилъ бифштексъ, но мясо показалось ему не по зубамъ. Онъ разсердился, ругнулъ служителя, бросилъ вилку но, взглянувъ въ зеркало, противъ котораго сидѣлъ и обратясь ко мнѣ сказалъ: „вотъ, молодой человѣкъ, какъ люди скоро зазнаются!“ Потомъ, какъ бы разсуждая съ собой,

продолжалъ, смотрясь въ зеркало: „а помнишь-ли, Скобелевъ, то время, когда ты былъ радъ, если отыщешь корку черствую чернаго хлѣба и ѣлъ ее съ жадностью? Что, забылъ?“ И, обратясь ко мнѣ, сталъ разсказывать о прежней бѣдности, въ которой онъ жилъ, о своей матери, которая стиркой бѣлья заработывала кусокъ хлѣба для скуднаго пропитанія... Часто послѣ этого свиданія встрѣчалъ его я въ театрѣ, котораго онъ былъ тоже большой любитель, и чѣмъ болѣе я узнавалъ его, тѣмъ болѣе онъ привязывалъ меня къ себѣ своимъ ласковымъ обращеніемъ, своею честностью, а болѣе всего добротой. Въ доказательство его доброты, помѣщаю копіи двухъ его писемъ: одно—къ Военному Министру, а другое—къ Императору Николаю.

1 ноября 1848 г.

Копія съ письма г. Скобелева къ г. Военному Министру:

„Сіятельнѣйшій князь! Заключенный на 8 мѣсяцевъ въ казематѣ, лейбъ-гвардіи Егерскаго полка прапорщикъ Браккель, образуя собою слабаго, щедушнаго, юнаго нѣмца, принявшій опредѣленное ему наказаніе съ чувствомъ вполнѣ кающагося грѣшника, всего болѣе за нанесеніе удара родителямъ, проживающимъ по словамъ его въ Ригѣ, слезами и тоскою наводитъ мнѣ страхъ; Боже упаси, если ко всему присоединится холера, и онъ умретъ: нѣмцы подумаютъ, что его въ крѣпости уморили. Браккель виноватъ по молодости и неопытности, но онъ, какъ вижу, сформированъ на благородную

стать, съ чувствами возвышенными, похвальными, а посему быть можетъ, и самъ я подвергаюсь вашему гнѣву, но осмѣливаюсь просить исходатайствовать ему переводъ въ мѣсто менѣе грозное, — „на гауптвахту“.

Собственноручная резолюція Государя Императора:

„Старику Скобелеву Я ни въ чемъ не откажу, надѣясь, что, послѣ его солдатскаго увѣщанія виновному, изъ Браккеля выйдетъ опять хорошій офицеръ, — выпустить и перевести въ армейскій полкъ тѣмъ же чиномъ“.

Копія съ благодарнаго письма г. Скобелева къ Государю Императору.

„Всемилостивѣйшій Государь! Благотворная резолюція Вашего Императорскаго Величества на письмѣ моемъ дала мнѣ поводъ и сообщила смѣлость представить Вамъ настоящее положеніе души и сердца моего.

Клянусь святою вѣрою и честью Русскаго благороднаго солдата, что, если бъ Вы подарили мнѣ каменную въ крѣпости палату, золотомъ и серебромъ набитую, далеко, далеко не порадовало бъ меня противъ этой божественной резолюціи, хотя, впрочемъ, я никогда не зналъ Браккеля, вовсе не знакомъ съ его родителями и дѣйствовалъ по долгу и обязанностямъ стража, долженствующаго вникать не только въ физическое, но и нравственное состояніе преступника. По сему могъ ли я вообразить, чтобъ изъ обстоятельства столь обыкновеннаго, на сѣдую мою голову упала благодать, и

утлая жизнь моя снова озарилась счастіемъ? Но вѣдь это не новое для меня: все Ваше Царствованіе Свѣтлый праздникъ".

„Не удивляйтесь, Государь, всеусерднѣйшей просьбѣ моей въ случаѣ войны употребить меня въ дѣло; мнѣ стыдно умереть подъ кровлею, ретивое мое должно перестать бится на поляхъ славы и за Васъ, въ примѣръ и науку преемникамъ, иначе чаша счастія будетъ не полна".

На подлинномъ написано:

„Государь Императоръ изволилъ прочитать съ удовольствіемъ".

За писателями романовъ, повѣстей и сказокъ, стали являтся издатели журналовъ и газетъ. Первымъ явился Полевой съ предложеніемъ издавать „Сынъ Отечества" журналъ, который не приносилъ Полевому ничего кромѣ убытка. Смирдинъ согласился взять на себя это изданіе и его же Полевого, сдѣлалъ и главнымъ редакторомъ! И вотъ съ перваго № „Сынъ Отечества" объявилъ войну „Библіотекѣ для чтенія". Библіотека приняла вызовъ и пошла бить „Сына Отечества". Пошла война не на животъ, а на смерть! Редакторы двухъ журналовъ одного и того же издателя грызутся какъ собаки;—выходитъ, что и своя своихъ не познаша!

И что это за народъ такой—эти литераторы! Не далъ имъ Богъ мира и согласія, такъ вотъ и побиваютъ другъ друга: Воейковъ бьетъ Булгарина, Булгаринъ—Полевова, Гречь — Краевскаго и Сеньковскаго, а Сеньковскій бьетъ всѣхъ и каждаго!

Въ концѣ концовъ однакожъ всѣхъ ихъ примирила смерть, и тѣ, о которыхъ вспоминаю теперь давно отошли ad patres... Умеръ зоилъ Воейковъ, умеръ и желчный Полевой!.. На похоронахъ послѣдняго удалось быть и мнѣ въ числѣ его провожатыхъ.

Гробъ покойника изъ церкви несли на рукахъ литераторы, студенты, артисты; одинъ только Булгаринъ не принималъ участія въ этой процессіи...

„Почему же“, спросилъ я у П. А. Каратыгина, „Булгаринъ не несетъ гробъ своего собрата по литературѣ?“

„А потому и не несетъ“, отвѣталъ Каратыгинъ „что онъ ужъ живого поносилъ его довольно!“

За Полевымъ явились къ Смирдину Гречъ и Булгаринъ съ предложеніемъ купить у нихъ право изданія „Сѣверной Пчелы“, увѣривъ его, что „Пчела“ имѣетъ нѣсколько тысячь подписчиковъ, что печатаніе ему не будетъ стоить дорого, такъ какъ у него своя типографія, и что они будутъ постоянными его сотрудниками. Заключили такое условіе, что „буде онъ, Смирдинъ пожелаетъ прекратить изданіе Пчелы, то—не иначе, какъ съ ихъ согласія, а буде пожелаетъ передать свое право, то—ни кому другому, какъ только имъ же Булгарину и Гречу“. Смирдинъ на все согласился и подписалъ это безумное условіе. Но лишь только Смирдинъ началъ издавать „Пчелу“, какъ—Булгаринъ и Гречъ заявили печатно, что они слагаютъ съ себя всякую отвѣтственность за „Пчелу“ и никакого участія въ ней принимать не будутъ' За-

явленіе это, разосланное ими во всѣ города и вѣси, сдѣлало то, что подписка на „Пчелу“ прекратилась, а отпечатанные листы пошли на обертку и макулатуру. Смирдинъ, находя нетолько невыгоднымъ, но даже убыточнымъ продолжать изданіе газеты, долженъ былъ сдать ее обратно Булгарину и Гречу, заплативъ имъ притомъ и значительную не устойку, чего имъ и хотѣлось.

Но этимъ еще не кончилось раззореніе Смирдина. Послѣ ужаленія „Пчелы“ къ Смирдину присталъ еще Плюшаръ, издатель „энциклопедическаго Лексикона“.

Изданіе Плюшара расходилось въ числѣ нѣсколькихъ тысячь экземпляровъ, приносило ему большую прибыль и жилъ онъ бариномъ Великолѣпная его квартира на Большой Морской отдѣлана была со всею роскошью: мебель, зеркала, бронза, ковры, экипажи, лошади!—ума помраченье! Разумѣется, при такой обстановкѣ онъ имѣлъ и большой кредитъ, какъ у частныхъ лицъ, такъ и въ Государственномъ Банкѣ; но банкъ, какъ извѣстно, выдаетъ ссуды подъ векселя не иначе, какъ съ поручительствомъ извѣстнаго ему лица, и вотъ это-то извѣстное лицо и нашелъ Плюшаръ въ Смирдинѣ.

„Если Богъ захочетъ наказать кого“, говоритъ городничій (хотя и едва ли читалъ древнихъ) въ Ревизорѣ, „то прежде всего отниметъ у него разумъ“, и это кажется вѣрно!

Плюшаръ былъ человѣкъ далеко не глупый, а вотъ нашла же на него дурь: вздумалъ промѣнять своего дѣльнаго, умнаго редактора на Сеньков-

скаго! Слова нѣтъ, Сеньковскій былъ хорошій критикъ, онъ былъ и уменъ и веселъ, и забавенъ, и остеръ, но только въ отдѣлѣ литературной лѣтописи журнала „Библіотеки для чтенія“. Тамъ, положимъ, шутки его были умѣстны, особливо при разборѣ Московскихъ произведеній Орлова и К°. Но шутить въ такомъ серьезномъ изданіи какъ „Энциклопедическій Лексиконъ“ —неумѣстно. А Сеньковскій вездѣ шутилъ!! Напримѣръ, возьмемъ слово „Грамматика“. Въ прежнихъ учебникахъ преподавалось такъ: „что есть Грамматика?“ спроситъ учитель.

Ученикъ отвѣчаетъ: „Грамматика есть наука, которая учитъ правильно говорить и писать.“

Сеньковскій-же въ Энцеклопедическомъ словарѣ говоритъ: „Грамматика есть такая наука, которая учитъ говорить такъ, какъ никто не пишетъ, а писать такъ, какъ никто не говоритъ“. Что же это, какъ не шутка? А когда дошло до слова „грибъ“, то онъ ужъ тутъ такъ разшутился, такъ, отличился, что просто изъ рукъ вонъ! Описывая разные виды грибовъ, сравнивая ихъ то съ тѣмъ, то съ другимъ, приплелъ тутъ и древнихъ египтянъ, и религіозныя ихъ торжества и поклоненія, словомъ, такую скандальную статью навалялъ, что Гречъ, когда прочиталъ ее, то сказалъ: „за эту статью слѣдуетъ Сеньковскаго связать кишками Красовскаго и посадить въ сумасшедшій домъ“.

Грибъ, что Сеньковскій преподнесъ Плюшару на закуску, былъ издателю не по желудку. Подписка прекратилась, а съ прекращеніемъ ея и доходы Плюшара тоже прекратились. А тутъ, какъ снѣгъ

на голову, подошли сроки платежамъ по векселямъ и Плюшаръ объявился несостоятельнымъ! И вотъ—вся сумма банковскаго долга, болѣе $^{100}/_{т}$. пала на поручителя, и бѣдный Смирдинъ, волей неволей долженъ былъ заплатить всю сумму сполна. Но чтобы заплатить и не объявиться, какъ Плюшаръ, несостоятельнымъ, онъ продалъ и свой домъ, и свою типографію, и всѣ царскіе подарки, которые получалъ отъ Государя и Великихъ Князей за подносимыя имъ свои изданія, и даже заложилъ двѣ кладовыя книгъ. Всего этаго едва хватило для уплаты всѣхъ долговъ...

Послѣ этого кризиса какъ ни старался Смирдинъ поправить свои дѣла, — ничто уже не помогало. Всѣ его аферы, какія онъ ни предпринималъ, не приносили ему пользы, какъ, напримѣръ, его безпроигрышныя лотереи, въ которыхъ за рубль серебромъ выдавалась книга. стоющая гораздо болѣе рубля. Не говорю уже о преміяхъ, которыя такъ были составлены, что за тотъ же рубль, вмѣстѣ съ выигрываемой книгой, счастливецъ получалъ и премію—цѣлую библіотеку, состоящую изъ всякихъ сочиненіи: богословскихъ, философскихъ, учебныхъ и проч. проч.

Не могу забыть однаго случая, какъ при раздачѣ выигрышей одинъ молодой человѣкъ, только что выпущенный изъ корпуса Путей Сообщенія, явившись въ магазинъ за полученіемъ выигранной имъ книги „Котъ Муръ“, сталъ ее требовать. Къ сожалѣнію книги этой въ наличности не оказалось, надо было послать за ней въ кладовую, отстоя-

щую отъ магазина довольно далеко; къ тому же во время суматохи, когда всѣ—и прикащики, и мальчики были заняты роздачей публикѣ ихъ выигрышей, послать за книгой не было никакой возможности. Главный прикащикъ Базуновъ сталъ просить молодого человѣка пожаловать за книгой завтра, или прислать за полученіемъ ея кого нибудь, или наконецъ — пусть оставитъ свой адресъ и книга будетъ ему доставлена. Но, „его благородіе“, не внемля ни чему, сталъ горячится, кричать и говорить грубости Базунову. Смирдинъ, узнавъ въ чемъ дѣло,. пошелъ въ свой кабинетъ, досталъ изъ своей собственной библіотеки въ богатомъ переплетѣ книгу „Котъ Муръ“, и, подавая ее крикуну, сказалъ: „вотъ вамъ Котъ и ухо̀дите съ котомъ“!

Такихъ лотерей было разыграно нѣсколько, но всѣ они не принесли ожидаемой пользы...

Александръ Максимовичъ Княжевичъ, соболѣзнуя о разстройствѣ дѣлъ Смирдина, поручилъ мнѣ составить подробную записку о всѣхъ его изданіяхъ за все время его книжной дѣятельности и вывести цифру стоимости тѣхъ изданій. Я составилъ и въ результатѣ оказалось, что имъ было издано разныхъ книгъ, учебниковъ, журналовъ и проч. и проч. всего на сумму около 3 м. рублей.

Записку эту Княжевичъ передалъ Министру Народнаго Просвѣщенія Графу Уварову, тоть доложилъ Государю Николаю Павловичу, а Государь приказалъ выдать Смирдину изъ Кабинета Его Величества пособіе. Но и эта Царская милость уже не поправила

его дѣлъ, и упалъ бѣдный Смирдинъ окончательно!.. Магазинъ свой сдалъ прикащику Иванову, остальныхъ всѣхъ расчиталъ, отпустилъ, оставшись самъ безъ ничего...

Прикащики его: Ивановъ, Базуновъ, Давыдовъ— всѣ пооткрывали свои магазины; даже Ольхинъ — жидъ и тотъ открылъ свой магазинъ и сталъ тоже торговать книжнымъ товаромъ, который пріобрѣлъ отъ Смирдина изъ его кладовыхъ, находившихся у него, Ольхина, въ залогѣ, по 5 коп. за рубль. И ни одинъ изъ нихъ не подалъ руку помощи своему бывшему хозяину!..

Въ послѣднее время я видѣлъ Смирдина сидящимъ въ небольшой лавченкѣ, въ которой онъ и занимался продолженіемъ изданій Классиковъ...

Упадокъ силъ, потеря всего состоянія—убили въ немъ всю энергію. Кое-какъ онъ еще пробавлялся короткое время, потомъ заболѣлъ и въ Сентябрѣ 57 года скончался, оставя жену и дѣтей безъ всякихъ средствъ къ существованію; но за то онъ оставилъ имъ по себѣ доброе имя, а это, какъ увѣряютъ,—есть первая драгоцѣнность нашей жизни...

Миръ твоему праху, полезный труженикъ,—добрый и честный человѣкъ!..

IV.

Съ прекращеніемъ занятій у Смирдина, пришлось мнѣ опять плохо, да такъ плохо, что хоть садись на пищу св. Антонія, какъ вдругъ нежданно является на помощь моя счастливая планета, въ видѣ доброй барыни, Марьи Романовны!..

Это—той самой барыни, о которой я говорилъ въ началѣ моихъ записокъ. Эта добрая барыня Марья Романовна была—Кикина, урожденная миссъ-Портеръ. Она, узнавъ о моихъ тѣсныхъ обстоятельствахъ предложила мнѣ переѣхать къ ней на житье, въ ея квартиру, мужъ ея—тоже и даже отдалъ мнѣ свой кабинетъ въ полное мое распоряженіе; отъ такого любезнаго ихъ предложенія я сталъ было благородно отказываться: мнѣ какъ-то неловко, какъ-то дико казалось вдругъ изъ общества прикащиковъ и мелкаго чиновническаго люда, въ которомъ я вращался, перейти въ аристократическій кругъ, кругъ этой свѣтской, молодой, богатой барыни... Но вѣдь, ужъ если женщина чего захочетъ, то поставитъ на своемъ! Такъ и случилось.

На другой день, когда я былъ на службѣ, она приказала своему управляющему забрать отъ Смирдина всѣ мои вещи и перевезти къ ней; и вотъ—волей-неволей, я очутился въ ея квартирѣ, и съ того же дня началось мое перевоспитаніе. Я попалъ въ школу женщины умной, доброй, тактичной; а школа такой женщины есть лучшая школа для молодаго человѣка. Все, что во мнѣ есть сколько нибудь порядочнаго, все это были плоды ея воспитанія, всѣмъ этимъ я былъ обязанъ только ей одной!..

Не мало также принесло мнѣ пользы и то общество, въ которое она ввела меня. Домъ ея посѣщали, кромѣ аристократическихъ ея родственниковъ: Ермоловыхъ, Одоевскихъ, Ланскихъ, Шаховскихъ, Щербатовыхъ, Волконскихъ и проч. и проч. и такія знаменитости, какъ: А. С. Пушкинъ, Брюловъ,

Глинка. Вращаясь въ ихъ кругу незамѣтно сталъ я привыкать къ умѣнію держать себя, какъ слѣдуетъ порядочному человѣку; робость моя стала пропадать, словомъ я совершенно переродился!.. Но этимъ еще не ограничилась доброта ея ко мнѣ; она начала хлопотать и о моей службѣ. Не одинъ разъ просила она Волконскаго принять меня на службу подъ свое начальство, но тотъ всякій разъ отказывать ей въ ея просьбѣ, говоря, что, по его мнѣнію, я не могу быть полезнымъ чиновникомъ на томъ основаніи, что онъ встрѣчалъ меня на всѣхъ общественныхъ собраніяхъ: въ театрахъ, въ маскерадахъ, въ концертахъ, словомъ вездѣ! „Суди же сама“, говорилъ онъ ей, „привыкнувъ къ такому разсѣянному образу жизни, можетъ-ли онъ заниматься дѣломъ? Мнѣ нужны работники, а не театралы“! заключалъ онъ, подчеркнулъ слово „театралы“...

Что-же это такое? Панаевъ побоялся принять меня на службу, потому что видѣлъ меня въ театрѣ, теперь Волконскій отказываетъ по той же самой причинѣ!?...

Хорошо мнѣ жилось у Кикиныхъ, такъ хорошо, что лучше и не надо!.. Квартира, столъ, экипажъ и дворовой входъ въ театръ. Министръ двора князь П. М. Волконскій отдалъ Кикиной свою ложу въ Александровскомъ театрѣ. Оперу и Французскій театръ она посѣщала рѣдко, а я и Ермоловъ любили Александринку, и она довольно часто доставляла намъ удовольствіе бывать тамъ, разумѣется вмѣстѣ съ нею. Вмѣстѣ же съ нею посѣщалъ я и ея родныхъ, которымъ она представляла меня, какъ

своего воспитанника и сына. Конечно благодаря этой рекомендаціи, я былъ вездѣ хорошо принятъ.

Однажды лѣтомъ на дачѣ у одной знатной барыни, старушки Е. В. Торсуковой, читалъ я ей записки Данилевскаго о войнѣ 12 года. Во время чтенія пріѣхалъ къ ней князь Меньщиковъ, морской министръ, и поздоровавшись съ ней, просилъ продолжать чтеніе, а самъ, усѣвшись у окна, сталъ смотрѣть на проѣзжающіе экипажи. Вслѣдъ за нимъ пріѣхала графиня Чернышева. Я прекратилъ чтеніе. Узнавъ отъ меня названіе книги, графиня Чернышева начала расточать похвалы автору, за то, что онъ не скрылъ въ исторіи и о заслугахъ ея мужа. Все время говоря о немъ, о своемъ мужѣ, она не иначе называла его, какъ только Александръ; она даже приписывала ему, своему Александру, взятіе какого-то города, названіе котораго она никакъ не могла вспомнить, а потому обратилась къ Менщикову съ такимъ вопросомъ:

„Не помните ли вы, князь, какой городъ взялъ Александръ?“

„Какъ же не помнить“! отвѣчалъ князь Меньщиковъ, „взялъ городъ Вавилонъ“!

„Нѣтъ, ни Вавилонъ, а другой какой-то“...

„ Да вы, графиня, о какомъ Александрѣ меня изволите спрашивать“?

„Я спрашиваю о моемъ мужѣ“! отвѣчала графиня“.

„Ахъ, а мужѣ!“ продолжалъ Менщиковъ, „а я, представьте, слышу: Александръ да Александръ, ну, и подумалъ, что вы спрашиваете про Алексан-

дра Македонскаго; а супругъ вашъ, графъ Александръ Григорьевичъ Чернышевъ, взялъ городъ Кассель".

„И то неправда!" обратясь ко мнѣ сказалъ онъ, но такъ тихо, что графиня не могла слышать. „Когда Чернышевъ подошелъ къ Касселю, то казаки его уже заняли, а ему отдали только ключи отъ города, вотъ и вся его заслуга".

Хорошо мнѣ жилось у Кикиныхъ, но хорошаго всегда бываетъ по немножку, такъ случилось и въ этотъ разъ.

Дѣла Кикиныхъ пришли въ разстройство, доходы съ имѣнія прекратились. Виною всего были отчасти плохое распоряженіе управляющаго, отчасти ихъ расточительность и воровство служащихъ. Крали всѣ: и дворецкій, и повара, и кучера; какъ же тутъ при такомъ хозяйствѣ не придти дѣламъ въ разстройство? Имѣніе назначалось уже въ продажу, и вотъ, чтобы таковой не допустить, они и рѣшились немедленно уѣхать изъ Петербурга и поселиться въ своемъ имѣніи...

Собрались и уѣхали!

V.

Хоть пой съ горя?
„Одинъ, одинъ бѣдняжечка!"

Но нѣтъ, не поется на желудокъ голодный! Желудокъ пѣснями не накормишь; ему хоть ты матушку рѣпку пой, а онъ все свое! Это такой надоѣдливый посѣтитель, что отъ него ничѣмъ не

отдѣлаешся, требуетъ пищи—такъ подавай ему; надо подумать о немъ... и придумалъ я пойдти къ Князю Волконскому, просить его о принятіи меня на службу, несмотря на то, что онъ ранѣе отказалъ въ этомъ моей ходатайницѣ...

Но сказано: „просите и дастся“! Я и пошелъ. Прихожу...

„Что вамъ нужно“? встрѣтилъ меня Князь Волконскій.

„Пришелъ, говорю, просить Вашу Свѣтлость принять меня на службу: желаю служить подъ вашимъ начальствомъ.“

„Хорошо, что сегодня ко мнѣ пришли“, сказалъ онъ, „я только что прогналъ своего секретаря. Поступайте на его мѣсто. Садитесь и пишите докладную записку о принятіи васъ на службу.“

Я написалъ, онъ прочелъ, помѣтилъ и, передавая мнѣ сказалъ: „отнесите въ Дворянскую Опеку, отдайте Судьѣ и скажите ему, чтобы сегодня же было послано въ Департаментъ отношеніе о высылкѣ вашего послужнаго списка. Я принимаю васъ на службу, но-предупреждаю: если я узнаю за вами какую нибудь гадость,—тамъ на счетъ взятокъ,—то будьте увѣрены, что я не посмотрю на то, что вы были своимъ человѣкомъ въ домѣ моей родственницы, Марьи Романовны, и тотчасъ же выгоню васъ по 3-му пункту; такъ и знайте это! Ну, идите же теперь въ Опеку, а вечеромъ будьте у меня съ докладомъ.“

Опредѣленіе мое состоялось скоро. Департаментъ отвѣтилъ, что къ увольненію моему препятствій не имѣется. Я принялъ должность журналиста Дворянской Опеки, и производителя дѣлъ Канцеляріи Предводителя Дворянства, съ жалованьемъ по двумъ должностямъ 733 руб., тогда какъ въ Департаментѣ получалъ только 144 руб. Шагъ не малый...!

Теперь нѣсколько словъ о моемъ начальникѣ. Князь Дмитрій Петровичъ Волконскій образованіе получилъ въ Парижѣ. Русскую грамоту зналъ онъ довольно плохо; никакъ бывало не поймешь, что онъ хочетъ сказать. Все какъ то несвязно шло у него съ языка. Вѣроятно, это происходило отъ непривычки говорить по русски: онъ говорилъ по русски только со мной, да съ своимъ камердинеромъ Ѳедотомъ. Да и гдѣ ему было научиться родному языку, когда онъ всю жизнь свою вращался въ большомъ свѣтѣ, а тамъ—извѣстно, говорить по русски въ то время не умѣли: ихъ учили въ то время говорить по французски, по англійски, по нѣмецки, а по русски учить было уже некогда!

Моему же начальнику, дѣйствительно, было некогда; служебныхъ мѣстъ у него было много, надо было вездѣ поспѣть. Онъ былъ и Предводитель Дворянства, и Предсѣдатель Дворянской Опеки, и Членъ Кабинета Его Величества, и Управляющій Гофъ-Интендантской конторой, и попечитель Обуховской Больницы, и Гофмейстеръ Двора Его Величества, и еще служилъ гдѣ-то. Вѣдь и за двумя зайцами погонишся, такъ ни одного не поймаешь, а

тутъ, поди-ка за всѣми то угоняйся! Ну и идутъ дѣла кой какъ,—подавай къ докладу что хочешь: *они* все подпишутъ!

Знакомство съ дворянами сначала очень льстило моему самолюбію; Безборолко, Кушелевы, Кочубеи, Апраксины, Шуваловы, Нарышкины, Юсуповы.... Просто сердце играло когда, бывало, на выборахъ подходятъ они ко мнѣ и спрашиваютъ совѣта, кого изъ мелкихъ дворянъ избирать имъ на должности: засѣдателей, судей, исправника и другихъ.

Но не долго послужилъ я здѣсь.

Въ мартѣ 48 года состоялись новые выборы. Князь Волконскій отказался отъ чести быть выбраннымъ на слѣдующее трех-лѣтіе; на мѣсто его выбранъ былъ Камеръ-Юнкеръ Безобразовъ, человѣкъ молодой, богатый, съ большими связями. Сдѣланный имъ мнѣ пріемъ въ первый день моего доклада былъ настолько рѣзокъ, что я тутъ же заявилъ ему, что не могу болѣе оставаться на службѣ, потому что не привыкъ къ подобному обращенію, и въ тотъ же день подалъ въ чистую отставку.

Кромѣ нежеланія служить подъ начальствомъ г. Безобразова, присоединилось къ тому еще и другое обстоятельство: жена моя сдѣлалась больна, докторъ, лѣчившій ее, далъ мнѣ совѣтъ увезти ее,—и какъ можно скорѣе,—изъ Петербурга, куда нибудь подалѣе, потому что климатъ здѣшній былъ для нея вреденъ. И вотъ—мы порѣшили уѣхать въ Малороссію. Пріѣхавъ въ Харьковъ, мы пріобрѣли тамъ подъ городомъ небольшой хуторокъ, въ ко-

торомъ и поселились. Я сталъ заниматься хозяйствомъ, сталъ обработывать поля, сажать картофель и проч., и проч. А съ чиновничествомъ навсегда простился!

Вотъ я и въ отставкѣ! Чиновничья дѣятельность моя кончилась и кончилась навсегда! Не скажу, чтобы мнѣ везло по службѣ; нѣтъ. Генеральскаго чина я не получилъ и кавалеріи не повѣсилъ, хотя и мечталъ о нихъ въ то время, когда Панаевъ обѣщалъ мнѣ свою протекцію. Просто вышелъ я изъ службы съ чиномъ Божіею милостіею „Коллежскаго секретаря“! Не удостоился, даже и за выслугою лѣтъ, получить чинъ *вѣчнаго* Титулярнаго Совѣтника!.. Вѣчныхъ въ мое время во всей Россіи было всего только два сословія: вѣчныхъ титулярныхъ и вѣчныхъ цеховыхъ; но такъ какъ ничто не вѣчно подъ луною, то и объ нихъ осталось теперь одна лишь вѣчная память! — Почему же не другой какой чинъ назывался вѣчнымъ, а только титулярный? быть можетъ пожелаетъ кто знать. А потому, что чиновники, которые поступали на службу, не имѣя университетскаго диплома, дослужившись до чина титулярнаго совѣтника, такъ и оставались въ этомъ чинѣ, сколько бъ ни служили, и чина ассесора получить не имѣли права.

Была, впрочемъ, возможность получить и чинъ ассесора, но за полученіемъ его надо было ѣхать на Кавказъ и прослужить тамъ не менѣе шести лѣтъ. Чинъ этотъ прельщалъ многихъ единственно потому, что съ полученіемъ его давалось право

потомственнаго дворянства. И вотъ, многіе чадолюбивые тятеньки отправлялись на Кавказъ, чтобы сдѣлать сынковъ своихъ потомственными, дабы они имѣли право пріобрѣтать крестьянъ и владѣть ими; но рѣдкіе изъ нихъ достигали желанной цѣли; большею частію такъ и умирали они тамъ титулярными. Въ Тифлисѣ я видѣлъ кладбище, которое до сихъ поръ носитъ названіе: „кладбище титулярныхъ совѣтниковъ“. Но теперь поѣздка туда „титулярныхъ“ уже прекратилась; теперь и чинъ ассесора и чинъ регистратора—имѣютъ почти одно и тоже значеніе.

Теперь перехожу къ другой моей дѣятельности—дѣятельности артистической.

VI.

Страсть къ театру зажглась во мнѣ съ самаго дѣтства. Помню, какъ еще ребенкомъ, 12 лѣтнимъ мальчишкой, однажды съ двугривеннымъ въ карманѣ отправился я въ театръ. Спектакль шелъ утренній, дѣло было на масляницѣ; играли „Русалку“, оперу Краснопольскаго и водевиль „Филатку и Миронку“, а въ заключеніе — дивертисментъ съ танцами. Боже, какой восторгъ вынесъ я изъ театра! Нѣсколько дней къ ряду все имъ бредилъ!

Страсть моя до того сдѣлалась сильна, что всѣ гроши, которые давала мнѣ мать на булки, я берегъ, чтобы современемъ купить на нихъ билетъ въ галерку.

Да и ктобы не увлекся въ то время театромъ, когда въ немъ были такіе знаменитые исполнители какъ: Мочаловъ, Щепкинъ, Живокини, Синецкая, Орлова и другіе? При мнѣ, въ 33 году, выступилъ въ первый разъ на сцену Самаринъ, въ драмѣ „16 лѣтъ, или Зажигатели“. Ему тогда было не болѣе 14 лѣтъ, онъ былъ почти еще ребенкомъ, но этотъ ребенокъ сразу показалъ, что онъ будетъ великимъ артистомъ!

Изъ видной публики, посѣщавшій тогда театръ, отмѣчу трехъ посѣтителей, какъ видно хорошо знакомыхъ между собой, сидѣвшихъ всегда въ первомъ ряду креселъ. То были: Волковъ, Нѣмчиновъ и графъ Самойловъ; впослѣдствіи этотъ тріумвиратъ, обращавшій на себя общее вниманіе публики, исчезъ изъ виду: Волкова—вызвалъ отецъ въ деревню, передавъ ему все свое имѣніе; Нѣмчиновъ—прокутивъ состояніе, поступилъ на сцену Малаго театра на роли „Королей и Злодѣевъ“, а Самойловъ?.. Съ нимъ былъ слѣдующій случай: покойный Императоръ Николай Павловичъ не любилъ, какъ извѣстно, видѣть штатскихъ съ усами. Насъ, гражданскихъ чиновниковъ, при поступленіи на службу, обязывали подписками: не носить волосъ длиннѣе вершка, усовъ не носить и подбородки выбривать, кто же пожелаетъ носить бакенбарды, то невозбранять. Но графъ Самойловъ нигдѣ не служилъ, подписокъ не давалъ, а потому вездѣ всегда являлся въ усахъ и часто попадался на глаза Государю. Однажды Государь, увидѣвъ его въ театрѣ, спросилъ Загоскина, Директора театра: „нѣтъ-ли такой пьесы,

въ которой можно бы представить этаго франта и чтобы на сценѣ сняли съ него усы?“ Загоскинъ передалъ желаніе Государя—Ленскому, извѣстному водевелисту того времени; тотъ написалъ небольшую пьеску подъ названіемъ „Усы“, въ которой роль франта съ усами дана была Живокини. Живокини заказалъ къ спектаклю такой же точно костюмъ, въ какомъ обыкновенно являлся въ театръ Самойловъ, загримировался точь-въ-точь, какъ Самойловъ. И вотъ, въ присутствіи Государя была разыграна эта пьеса; Самойловъ былъ въ театрѣ и внимательно слѣдилъ за ходомъ пьесы. На другой день Живокини получилъ отъ графа письмо, въ которомъ онъ благодарилъ Живокини за удачную копировку его лица, костюма и проч. и пр. „Все“, писалъ онъ, „было похоже, только одного у васъ не доставало,—это моихъ брилліантовыхъ запонокъ, которые я и посылаю вамъ на память“. При письмѣ былъ присланъ и футляръ.

Послѣ этого Самойловъ уѣхалъ за границу и я болѣе уже не встрѣчалъ его.

Насмотрѣвшись вдоволь артистовъ Императорскихъ Театровъ, пришла мнѣ охота попробовать и самому свои силы на этомъ поприщѣ,—изобразить какого нибудь героя, въ родѣ: „неизвѣстнаго“ въ „Парашѣ Сибирячкѣ“, котораго такъ хорошо игралъ Каратыгинъ, или „Мейнау“ въ драмѣ Коцебу: „ненависть и раскаяніе“, что неподражаемо игралъ Мочаловъ; только какъ и гдѣ сдѣлать мнѣ эту пробу? Случай, однакожъ, какъ и всегда, явился мнѣ на помощь...

По пріѣздѣ въ Харьковъ узналъ я, что на Харьковской сценѣ составляется любительскій спектакль въ пользу благотворительнаго общества, въ которомъ будутъ учавствовать лучшіе представители города, вся Харьковская аристократія: дѣти Генералъ Губернатора Кокошкина, Бахметевы, Абазы, Ширинскій-Шахматовъ, Мясново, Шидловскій и другіе...

Мнѣ захотѣлось посмотрѣть этотъ спектакль; отправляюсь въ кассу, но кассиръ говоритъ, что всѣ билеты у распорядителя, профессора Львова. Иду къ Львову и узнаю въ немъ стараго знакомаго; „дай“, говорю, мнѣ билетъ на вашъ спектакль; „да ни одного нѣтъ“, отвѣчалъ Львовъ, „всѣ давно розданы; а вотъ, если хочешь посмотрѣть, то можешь изъ ложи, оставленной для исполнителей, но за это ты долженъ будешь и самъ принять въ спектаклѣ участіе. Есть у насъ небольшая роль, отъ которой всѣ отказались, такъ вотъ, возьми её и сыграй.

„А въ какой пьесѣ?“ спросилъ я у него.

„Въ комедіи Тургенева „Провинціалка“, отвѣчалъ онъ.

„А роль?“ спросилъ я.

„Роль Миши“.

„Помилуй“, говорю, да вѣдь это роль молодаго мальчика, простака, а я?..

„Ну, полно, не упрямься, сыграй!“ началъ онъ уговаривать меня, „вѣдь если ты и плохо исполнишь её, то бѣда небольшая: тебя здѣсь никто не знаетъ, а намъ ты окажешь большую

услугу. Пойдемъ же сейчасъ на репетицію, вотъ только закусимъ, и пойдемъ; тамъ я представлю тебя нашему обществу".

Закусили и поѣхали. Львовъ представилъ меня, какъ своего знакомаго, но Харьковская аристократія посмотрѣла на меня какъ то свысока, видно сразу замѣтила, что я сшитъ не изъ ея ткани.

Началась репетиція; роли у всѣхъ на зубокъ! Такъ и рѣжутъ; только игры—ни у кого... Вотъ дошла очередь и до моего выхода. Я повелъ свою роль такъ, какъ надо было её играть, и послѣ перваго моего ухода со сцены Дорошенко, актеръ Харьковскаго Театра, ихъ режиссеръ, подошелъ ко мнѣ и говоритъ: „ради Бога, не откажитесь отъ этой роли, вы всѣхъ ихъ скрасите, а въ день спектакля, позвольте ужъ мнѣ самому загримировать васъ. Да вы, батюшка, не любитель", прибавилъ онъ, „вы ведете сцену, какъ настоящій актеръ!" Высказавъ мнѣ свое одобреніе, онъ пошелъ и передалъ свое мнѣніе о моей игрѣ распорядителямъ. Тутъ всѣ любители обратились ко мнѣ и начали просить не отказываться отъ роли....

Въ спектакль загримировалъ меня Дорошенко превосходно! Такое комическое выраженіе далъ моему лицу, что съ помощію его гримма такъ удалось мнѣ провести всю роль, что весь театръ былъ въ восторгѣ. Похвалъ я наслышался довольно много. Артисты Харьковскаго Театра: Рыбаковъ, Милославскій, Пронскій и другіе, стали приглашать меня учавствовать въ ихъ бенефисахъ, а такихъ было у нихъ по меньшей мѣрѣ по 5 и

болѣе. Можетъ, кто заподозритъ меня во лжи, относительно количества бенефисовъ? Увѣряю что это сущая правда, и вотъ почему: антрепренеры находили выгоднымъ для себя давать какъ можно болѣе бенефисовъ, такъ какъ бенефиціантъ долженъ былъ самъ заботиться о своемъ спектаклѣ: онъ выписываетъ новую пьесу, платитъ за нее свои деньги, а пьеса послѣ бенефиса поступаетъ безплатно въ библіотеку антрепренера; бенефиціантъ же платитъ за росписку ролей, продаетъ билеты, раздаетъ иным въ долгъ, который нерѣдко пропадаетъ.... И вотъ, въ бенефисъ, положимъ, продано всего кассой и бенефиціантомъ на 800 руб.; изъ этихъ денегъ антрепренеръ первымъ дѣломъ вычитаетъ за театръ и музыку 200 р., остается 600, изъ нихъ половину т. е. 300 р. беретъ себѣ антрепренеръ, осталось бенефиціанту 300 р. Изъ этихъ 300 онъ долженъ вычесть расходъ: за выписку пьесы т. е. за росписку ролей, за билеты, за афиши, на извозщиковъ, на чаи типографщикамъ, капельдинерамъ, рабочимъ, портнымъ, парикмахерамъ, на угощеніе братіи, и вотъ, сведя всѣ счеты, глядишь, въ карманѣ отъ 300 останется половина, и то еще, слава Богу! А то бываетъ и такъ, что бенефиціанту ничего не остается, а антрепренеръ получаетъ безъ всякихъ хлопотъ порядочный сборъ весь въ свою пользу.

Наконецъ бенефиціанты увидѣли, что они дѣлаютъ напрасные расходы, выписывая новыя пьесы, на которыхъ въ первое представленіе публики бываетъ очень мало, а всѣ ждутъ повторенія,—зна-

чить актеры-бенефиціанты трудились не въ свою пользу, а въ пользу антрепренера! Рѣшились прекратить эту безполезную для себя трату, а придумать что нибудь другое, чѣмъ бы привлекать въ свои бенефисы публику. Первый примѣръ этому показалъ Волгинъ-Чистяковъ: онъ заявилъ въ афишѣ, что въ концѣ спектакля на сценѣ онъ съѣстъ живаго человѣка! Публика повѣрила и повалила въ театръ, заняла всѣ мѣста; пьесу не смотрятъ, а всѣ ждутъ конца. Выходитъ Волгинъ на авансцену и предлагаетъ публикѣ: „не угодно ли кому пожаловать ко мнѣ на ужинъ?“ Публика молчитъ, Волгинъ повторяетъ вопросъ; тутъ кто то съ галлереи кричитъ: „Я“. „Пожалуйте“, говоритъ желающему Волгинъ, ко мнѣ на сцену, и вотъ является къ нему какой то парень въ поддевкѣ, Волгинъ предлагастъ ему снять поддевку, такъ какъ сукна онъ не ѣстъ; парень снимаетъ; Волгинъ засучиваетъ рукавъ его рубашки и начинаетъ кусать его руку,—парень кричитъ, что ему больно, вырывается, схватываетъ свою поддевку и убѣгаетъ со сцены. Публика довольна, а бенефиціантъ вдвое!

Балаганная выдумка Волгина понравилась многимъ „артистамъ“, стали являться ему подражатели. Шмидгофъ заявилъ, что онъ въ антрактѣ между 1-й 2-й пьесой полетитъ со сцены въ публику и будетъ влетать и въ ложи, и въ галерку. Театръ опять полонъ! Что же придумалъ Шмидгофъ? Отпечаталъ сотни три фотографическихъ своихъ портретовъ и такъ искусно бросалъ ихъ со сцены, что

дѣйствительно попадалъ и въ ложи, и въ партеръ и даже въ галлерею.

Впрочемъ, не всѣ актеры (не артисты) прибѣгали къ подобнымъ средствамъ заманивать публику; были и такіе, которые не навязывали билетовъ и не ѣздили съ визитами, но публика сама охотно посѣщала ихъ бенефисы. То были ея любимцы: Милославскій, Рыбаковъ, Пронскій, Васильевъ. Театръ у нихъ нерѣдко бывалъ полонъ, и подарки они получали и драгоцѣнные, и малоцѣнные, и букеты и лавровые вѣнки, а иногда и такіе, которые оскорбляли и артистовъ, да не дѣлали чести и тѣмъ, кто ихъ подноситъ. Такъ напримѣръ артисткѣ Андреяновой въ Московскомъ театрѣ бросили на сцену кошку. Пѣвцу Радонежскому поднесли сакъ-вояжъ съ навозомъ. Грубину въ Тамбовѣ—шкатулку съ тѣмъ же добромъ. Ральфу поднесли баранью голову! Но Ральфъ нашелся; онъ, получивъ такой подарокъ, обратился къ публикѣ съ слѣдующими словами: Господа! въ продолженіи всей моей сценической дѣятельности, я много имѣлъ отъ публики подарковъ довольно драгоцѣнныхъ, но всѣ они едвали сравняются съ такимъ неоцѣненнымъ подаркомъ, какъ тотъ, что я имѣлъ честь сейчасъ получить; не могу знать кому я имъ обязанъ, но изъ поступка его я вижу, что тотъ господинъ такъ дорого оцѣнилъ мой талантъ, что даже не пожалѣлъ и своей головы, которую и принесъ мнѣ въ даръ.“

Принимая участіе въ бенефисахъ Пронскаго, Милославскаго и другихъ, я такъ привыкъ къ ихъ

обществу, къ ихъ семейной жизни, что, наконецъ рѣшился и самъ поступить на сцену; это было въ 52 году, когда мнѣ наступилъ 40-й годъ. Службу свою я началъ съ Полтавы, куда уговорилъ меня ѣхать съ нимъ вмѣстѣ Васильевъ; мы подписали контрактъ съ Сахновскимъ, директоромъ Полтавскаго театра, но въ Полтавѣ мы не кончили сезона: директоръ оказался несостоятельнымъ, и мы разъѣхались: Васильевъ въ Одессу, а я въ Харьковъ, гдѣ и поступилъ въ труппу Щербины. Прослужа у него года три, я уѣхалъ съ Милославскимъ въ Кіевъ.

Кончивъ сезонъ въ Кіевѣ, я возвратился обратно въ Харьковъ и жилъ у себя на хуторѣ до 66 года. Въ этомъ году, я имѣлъ несчастіе лишиться моего лучшаго друга—жены; она умерла, а я остался одинъ съ малолѣтними дѣтьми!.. Надо было для воспитанія ихъ ѣхать въ Москву, продать свой хуторъ со всѣмъ въ немъ находящимся: мебелью, картинами, шкапами, полными книгъ. Все, что собиралъ я съ такимъ трудомъ, и что стоило мнѣ немалыхъ денегъ,—все пришлось продать чуть не за безъцѣнокъ.

Въ Москвѣ съ помощію добрыхъ людей удалось мнѣ пристроить дѣтей: дочь въ Елизаветинскій Институтъ, а сыновей въ Межевой, гдѣ они были приняты оба на казенный счетъ.

Пристроивъ дѣтей, я сдѣлался свободнымъ и сталъ получать ангажементы: то изъ Саратова, то изъ Пензы, то изъ Одессы, словомъ, почти изъ всѣхъ городовъ Россіи, и изъѣздилъ ее всю и вдоль

и поперегъ! Много было пережито за это время.... Но наконецъ наскучило, надоѣло мнѣ плятся по городамъ и вѣсямъ и имѣть дѣло съ кулаками—антрепренерами, этими эксплуататорами чужаго труда, набивающими лишь свой собственный карманъ и рѣдко расплачивающимися съ тружениками — актерами полностію получаемаго ими жалованья; исключенія хотя и бывали, но только очень рѣдко. Въ то давнее время, я зналъ всего только трехъ антрепренеровъ исправно платящихъ жалованье: Щербину, Дюкова и Разсказова.

Въ 1872 году, во время Политехнической выставки, открылся въ Москвѣ народный театръ куда я поступилъ дублеромъ Рыбакова, съ жалованьемъ по 250 р., и служилъ въ театрѣ до его закрытія.

Этимъ я и кончилъ мою сценическую дѣятельность и перешелъ на другую.

VII.

Посѣщая въ свободное время добрыхъ своихъ знакомыхъ, случилось мнѣ разъ прочитать какое-то стихотвореніе въ домѣ одной барыни. Чтеніе мое до того ей понравилось, что похваламъ ея не было конца. И вотъ—пришла ей мысль, не заручившись моимъ согласіемъ, объявить старшинамъ Московскаго Дворянскаго Клуба, что я участвую въ первомъ у нихъ литературномъ вечерѣ.

Узнавъ объ этомъ, иду къ моей услужливой барынѣ и прошу её увѣдомить старшинъ, что я читать у нихъ не буду, потому что нигдѣ еще

публично не читалъ, да и не знаю ни одного стихотворенія, которымъ могъ бы заинтересовать Московскую публику, привыкшую къ чтенію лучшихъ чтецовъ. Но она такъ усердно стала просить меня не ставить её въ непріятное положеніе передъ старшинами, такъ какъ афиша уже напечатана, и замѣнить мой № другимъ не было никакой возможности, что жаль мнѣ стало бѣдную барыню, и при всемъ нежеланіи я, скрѣпя сердце, согласился исполнить ея просьбу.

Въ 7 часовъ вечера надѣваю фракъ, повязываю бѣлый галстукъ, кладу въ карманъ перчатки, беру шляпу и отправляюсь въ собраніе... Подъѣзжаю и... о ужасъ! Экипажи заставили всю Дмитровку и площадь передъ собраніемъ!..Со страхомъ пробираюсь по лѣстницѣ на верхъ, спрашиваю у ливрейнаго служителя: „гдѣ комната артистовъ?“ Тотъ указалъ. Вхожу,—знакомыхъ ни души! Страхъ напалъ на меня... Начинаю разсматривать участвующихъ: вотъ четыре молоденькія хорошенькія барышни, всѣ въ бѣлыхъ платьяхъ и голубыхъ шарфахъ, Герберъ, директоръ музыки, какая-то дама въ черномъ платьѣ и съ нотами въ рукахъ, пьянистъ Вивьенъ и Бѣшенцевъ—поэтъ и чтецъ плохихъ своихъ стихотвореній, во фракѣ и съ Кавказскимъ крестомъ въ петлицѣ. Этотъ крестоносецъ, смѣривъ меня глазами, спросилъ: „и вы тоже читаете?“ Я, въ свою очередь тоже смѣривъ его глазами, отвѣчалъ тѣмъ же тономъ: „да! и я тоже читаю“.

Концертъ начался. Молодыя пьянистки на двухъ

роляхъ отбарабанили свой № и были награждены громкимъ аплодисментомъ; за ними пошелъ Герберъ, превосходно съигралъ соловья и тоже былъ и встрѣченъ и провоженъ рукоплесканіями. Вотъ и моя очередь. „Пожалуйте“, говоритъ мнѣ распорядитель, указывая входъ на эстраду. Выхожу, отдаю поклонъ публикѣ—ни щелчка!.. И нетолько поощренія выходящему въ первый разъ артисту, но напротивъ,—съ выходомъ моимъ началось и двиганіе стульевъ, и громкій говоръ, смѣхъ, а нѣкоторые стали уходить. Я все стою и молчу, думаю: авось угомонятся; но не тутъ-то было, публика продолжаетъ свое!.. Пренепріятное положеніе! Не знаю, что дѣлать на что рѣшиться: уйдти-ли съ эстрады, или при шумѣ начать чтеніе? Подумалъ и рѣшился ждать, взялъ отъ рояля стулъ, поставилъ его по срединѣ эстрады, сѣлъ, сложилъ руки и сталъ смотрѣть на публику. Молчаніе мое продолжалось съ минуту или болѣе. Вотъ, наконецъ, публика обратила вниманіе на сидящую передъ ней и молчащую фигуру. Замѣтивъ это, я всталъ со стула, поставилъ его на прежнее мѣсто и, подойдя ближе къ публикѣ, началъ чптать поэму Гр. А. Толстаго „Грѣшница“. Послѣ двухъ, трехъ стиховъ, произнесенныхъ мною съ энергіей, съ увѣренностію въ знаніи своего дѣла, въ Собраніи водворилась тишина, говоръ прекратился, публика вся обратилась въ слухъ! Тутъ я сталъ, продолжая чтеніе, рисовать передъ ней картины и дѣйствующихъ лицъ въ поэмѣ—и богатое убранство дома, и пиръ гостей, и блудницу въ ея роскош-

номъ нарядѣ, и красоту ея лица, и Іоанна. Особенно удачно вышло у меня внезапное появленіе Христа,—такъ живо, какъ будто я вижу Его передъ собою! Кончивъ чтеніе, я ушелъ съ эстрады уже не отдавъ поклона публикѣ.

Нѣсколько секундъ послѣ моего ухода продолжалось въ публикѣ гробовое молчаніе... Но вдругъ раздался громъ рукоплесканій. Вызововъ, криковъ „браво“ не было конца. Въ этотъ вечеръ я былъ вызванъ болѣе 10 разъ! Такъ непріятно, было, начался и такъ великолѣпно кончился мой первый въ Москвѣ дебютъ артиста—чтеца.

Спустя два—три дня послѣ моего успѣха въ концертѣ, посѣтилъ меня генералъ Горловъ, депутатомъ отъ совѣта старшинъ и членовъ дворянскаго клуба съ тѣмъ, чтобы просить меня посѣщать ихъ клубъ въ дни концертовъ и принимать въ нихъ участіе,—доставлять имъ удовольствіе слушать мое чтеніе. Прощаясь со мной, онъ спросилъ о вознагражденіи, но я поторопился отвѣтомъ и назначилъ по 25 р., тогда какъ по успѣху, который я имѣлъ, назначь я вдвое, и клубъ платилъ бы мнѣ эту цифру. Но дѣло уже сдѣлано. Этотъ же самый гонораръ получалъ я послѣ и во всѣхъ московскихъ клубахъ.

Захотѣлось мнѣ еще разъ побывать въ Петербургѣ, можетъ быть, уже въ послѣдній разъ въ моей жизни... Но, увы! Въ этотъ пріѣздъ мой, въ октябрѣ 1882 года, онъ не произвелъ на меня того впечатлѣнія, какое произвелъ въ 35 году, за 50 лѣтъ назадъ! Боже, какая перемѣна!.. Нѣтъ,

теперь Петербургъ сталъ уже не тотъ щеголь—богачъ, какимъ былъ прежде! Бывало, въ прежнее-то время, нашему брату—мелкому чиновнику, возвращаясь со службы, совѣстно было идти по Невскому въ поношенной на ватѣ шинели,—проходить между этихъ бобровыхъ пальто, собольихъ шубъ, да бархатныхъ и атласныхъ на лебяжьемъ пуху платьевъ-франтихъ и щеголей! И кого—кого, бывало, какихъ знаменитостей не увидишь въ ту пору на Невскомъ, а теперь не встрѣтишь ни кого! Видныхъ-ли людей стало меньше, — толпы-ли стало больше, — но прежняго, блеска нѣтъ! Рѣдко теперь встрѣтишь на Невскомъ даже хорошо одѣтаго барина, или щеголиху барыню; все больше бѣднота да чернорабочій людъ, попадается! Хорошій экипажъ тоже сталъ рѣдкостью; большею частію видишь общественные фургоны на тощихъ лошадяхъ Чапова, да кареты-конки, снующія взадъ и впередъ... Да, обѣднѣлъ Петербургъ, совсѣмъ обѣднѣлъ!

О пріѣздѣ моемъ Петербургская пресса сообщила въ своихъ ежедневныхъ листочкахъ, и я тотчасъ-же получаю приглашеніе отъ членовъ распорядителей Пушкинскаго литературнаго кружка посѣщать безплатно ихъ вечера. За ихъ любезность, я тоже заплатилъ имъ любезностью, и въ тотъ же вечеръ прочелъ у нихъ два—три стихотворенія....

Въ мартѣ мѣсяцѣ того же года я простился съ Петербургомъ и, на этотъ разъ, простился съ нимъ уже навсегда!...

Теперь, за старостью лѣтъ я уже не предпринимаю никакихъ поѣздокъ съ артистическою цѣлью.

Чувствую, что уже нѣтъ во мнѣ ни той энергіи, ни той силы, которыми въ былое время такъ щедро надѣленъ былъ природой, и охотно теперь передаю свою, такъ долго скрашивавшую мои старые годы профессію молодежи, которой отъ всего сердца желаю заслужить на этомъ поприщѣ такую же любовь публики, какою я въ свое время отъ нея пользовался!...

А чтобы заслужить эту любовь, дай имъ Боже самимъ такъ горячо любить свое искусство, какъ любилъ его я!

И. Григоровскій.

Отрывокъ изъ письма

. . . . . *ву.*

Гони ихъ прочь, твои мучительныя думы!
Насильно подыми поникшій долу взглядъ!
Дай солнцу проглянуть въ туманъ души угрюмый—
И онъ разсѣется—и клочья полетятъ
Какъ привидѣнія,—а съ ними мракъ и горе—
И заблеститъ она, подъ золотымъ лучомъ,
Какъ вдругъ открывшееся море,
Во всемъ своемъ просторѣ голубомъ!....

1890 г. Буюкъ-Дере.

А. Майковъ.

ГРѢХЪ ПОТАПА

НАРОДНЫЙ РАЗСКАЗЪ.

А. Александрова.

ГРѢХЪ ПОТАПА.

Народный разсказъ.

I.

Славный былъ парень Потапъ: тихій, трезвый, богобоязненный. И изъ себя, Богъ съ нимъ, былъ видный да здоровый такой: рослый, плечистый, лицомъ пріятный, съ большими, умными, сѣрыми глазами и темными, по концамъ курчавыми, волосами. Усы и борода у него только еще рости начинали: ему шелъ всего двадцатый годъ.

Подумывалъ было старикъ Василій, отецъ Потапа, женить малаго, да рѣшилъ погодить. Старуха Маланья, Потапова мать, была еще въ силѣ и легко справляла всю бабью работу; а избенка становилась плоха. Надо было хорошенько поправить ее, а то такъ и вовсе поставить новую,—а на это, по крестьянскому достатку, деньги нужны не малыя; свадьбу же сыграть, какъ никакъ, а тоже деньги нужны. И надумалъ Василій послать Потапа на годъ, а то и на два, въ Москву, на заработки.

Правда, былъ еще у Василія сынишка, Семка, по семнадцатому году, да больно боекъ и вертопрашенъ паренекъ-то, да и младъ еще. Такого лучше держать поближе къ дому: годится и къ деревнѣ, по хозяйству; а въ городѣ грѣха-то ходитъ много; долго ли

тамъ молодому малому свертѣться и запутаться такъ, что послѣ и не поправишь его ничѣмъ! На Потапа же Василій надѣялся больше, чѣмъ на Семена. И постарше-то онъ немного, да и парень-то обстоятельный. Были тоже гуляки-то и у нихъ на селѣ, но Потапъ всегда держался отъ нихъ въ сторонѣ и на попойки и безобразія ихъ смотрѣлъ какъ на пустую и ничего не стоющую глупость. Къ работѣ всякой онъ былъ ловокъ и не лѣнивъ: что ни покажешь ему, мигомъ перейметъ, до иного домекнется и самъ. и въ рукахъ у него всякое дѣло такъ и кипитъ, такъ и кипитъ. Угодить тоже каждому умѣлъ: догадливъ, услужливъ, а чтобы кому грубое слово сказать, облаять кого, либо огрызнуться, такъ за нимъ этого не водилось. Въ церковь часто ходилъ, грамотѣ немножко зналъ, и читалъ больше книги божественныя. На такого парня положиться было можно.

На заработки изъ ихъ села больше ходили въ Москву, по трактирному дѣлу, въ половые.

Не больно по душѣ была эта должность старику Василію; не хотѣлось ему на нее отпускать сына. Да скоро ли другая-то какая выищется, а эта сама давалась въ руки. Братъ кума Ивана „Миколай Миколаичъ“, жилъ въ Москвѣ, въ трактирѣ буфетчикомъ и писалъ на-дняхъ, что у нихъ надобенъ малый, въ половые; такъ не захочетъ ли кто изъ ихъ деревенскихъ: могу, молъ, устроить. Надо было ковать желѣзо, пока горячо.

Какъ рѣшилъ Василій такъ и сдѣлалъ. Потолковалъ съ бабой, сказалъ Потапу. Маланья была баба тихая и голосу большаго не имѣла: что Сказалъ Василій Прохорычъ, такъ тому, значитъ, и быть. Потапъ хорошо понялъ мысли отца и шелъ съ охотой. Сборы были недолгіе. На третій день и срядили парня. Сходилъ онъ въ баню, напекла ему мать лепешекъ-попутчиковъ, не забыла положить въ мѣшокъ и де-

ревенскихъ гостинчиковъ для буфетчика, что устроивалъ Патапа; привязалъ онъ къ угламъ мѣшка наискось веревку покрѣпче, продѣлъ подъ нее голову, перекинулъ веревку на грудь, а мѣшокъ за спину,— и готовъ былъ въ дорогу.

— Ну,—говорилъ старикъ, провожая сына,—помни Потапъ. Много говорить тебѣ не буду,—самъ разумѣешь, а только помни, зачѣмъ идешь. За деньгой идешь, ее и сколачивай. Но только чтобъ все честно, благородно. Своего не упущай и на чужое не зарься. Какъ допрежъ того жилъ, такъ и тамъ живи. Отъ грѣха-то подальше. Много его тамъ ходитъ всякаго. Не будь нужда наша, не пустилъ бы тебя.

— Полно, батюшка! сказалъ Потапъ. Въ аккуратѣ держать себя буду.

— То-то, то-то, другъ,—про то и рѣчь.

Попрощался Потапъ съ матерью, съ братишкой, кой съ кѣмъ изъ своихъ деревенскихъ, кого нашелъ,—и отправился въ Москву, къ своей новой должности.

II.

Отыскалъ Потапъ въ Москвѣ трактиръ, про какой ему говорили. Спросилъ буфетчика, „Миколай Миколаича“. Передалъ ему поклонъ отъ родныхъ; сказалъ, зачѣмъ пришелъ; отдалъ и деревенскіе гостинцы. Усмѣхнулся „Миколай Миколаичъ“ на деревенскіе гостинцы, однако принялъ Потапа ничего—ласково, и мигомъ устроилъ, какъ писалъ.

Надѣлъ на себя Потапъ бѣлую, коленкоровую рубаху, легкіе штаники, купилъ и сапоги городскіе, легкіе, смазные, перепоясался поясомъ, марочникъ за него заткнулъ и перекинулъ черезъ плечо салфетку. Все сдѣлалъ, какъ приказалъ ему „Миколай Миколаичъ“, и какъ видѣлъ это на другихъ.

И чудно было сначала Потапу въ своей легкой одежѣ и въ своей новой должности. Дня два было ему чудно,—и онъ какъ-то робѣлъ и немножко путался. Съ третьяго дня сталъ привыкать Потапъ. И недѣли не прошло, какъ онъ такъ привыкъ, будто вѣкъ былъ при этой работѣ и никогда ничего другаго не дѣлалъ.

Всѣмъ съумѣлъ угодить Потапъ: и буфетчику, котораго скоро выучился звать не по деревенскому „Миколай Миколаичемъ“, а по городскому „Николай Николаичемъ“, и товарищамъ, и гостямъ. Когда хозяинъ зайдетъ въ трактиръ, и тотъ любуется новымъ половымъ: красивъ, ловокъ, проворенъ, вѣжливъ, услужливъ, всегда трезвъ и расторопенъ. Ни грязнаго никому не подастъ, ни въ сдачѣ не ошибется, ни, кто что спрашивалъ, не позабудетъ; такъ и летаетъ, такъ всюду и поспѣваетъ, такъ и смотритъ, куда бы поспѣшить, кому бы услужить.

И такъ ему Богъ далъ, что поступилъ онъ въ трактиръ послѣ Покрова, а къ Рождеству ужъ его въ господскую залу служить перевели. А это по ихней должности повышеніе не малое. Жалованье тутъ, положимъ, то же самое идетъ, что и въ простонародной, 5 руб. въ мѣсяцъ, ну да за то другой тутъ народъ бываетъ, другіе и доходы. Въ простонародную залу, кромѣ извощиковъ, дворниковъ, кухарокъ да мастеровыхъ, никто, вѣдь, и не заглядываетъ; ну, а ужъ, извѣстно, этотъ народъ „на чаекъ“ не дастъ: онъ такъ и смотритъ, какъ бы съ кого самому „на чаекъ“ сорвать. Въ господскую же залу ходитъ публика чистая да тароватая, купцы да господа; а эти, кажется, ужъ самимъ Богомъ такъ *устроены*, чтобы съ нихъ „на чаекъ“ получать.

Трактиръ, гдѣ жилъ Потапъ, стоялъ на бойкомъ мѣстѣ,—и гулящаго народу, особенно въ праздники, ходило тула не мало. И стали Потапу деньжонки перепадать: пятачка уже рѣдко кто не дастъ, попадали

и гривенники и пятіалтынные и двугривенные, иной и на полтинникъ раскошелится, а иной такъ и цѣлый цѣлковый отвалитъ. И такъ хорошо у Потапа Рождество прошло, что послѣ Крещенья онъ отцу 15 цѣлковыхъ отослалъ да 10 руб. себѣ въ сундукъ отложилъ.

III.

И хорошо живетъ Потапъ: не пьетъ, не куритъ, блуднымъ мыслямъ не поддается, работаетъ за двоихъ и трудовую копѣйку беречь умѣетъ. Старику въ деревню на избу посылаетъ и себѣ въ сундукъ на свадьбу откладываетъ: такое условіе у нихъ съ отцомъ было.

Хорошо жилъ Потапъ. Но стало ли досадно лукавому, что хорошо жилъ Потапъ, и началъ онъ его мысли мутить и въ грѣхъ уловлять, или просто потому, что тутъ кругомъ грѣха и соблазна всякаго много было, и сыпалась дуромъ эта легкая, безшабашная деньга̀, которая попадала иногда зря, ненарокомъ и въ кошель Потапа, а сердце его было еще молодо и неопытно, и не глубоко врѣзались въ немъ завѣты Божіи и родительскіе,—но только сталъ подаваться Потапъ. Нашелъ лукавый въ сердцѣ Потапа струнку послабѣй и на ней-то началъ наигрывать.

Что- же эта была за струнка? Что соблазнило скромнаго, работящаго, сдержаннаго и бережливаго парня? Соблазнила его чужая, гулящая, безшабашная деньга̀.

IV.

Видѣлъ Потанъ, что онъ надъ каждой копѣйкой дрожитъ, каждую бережетъ да откладываетъ про свою неотступную деревенскую нужду, а тутъ кругомъ сотни рублей дуромъ летятъ,—и чудно какъ-то становилось ему: и досадно и обидно.

„Эхъ,—думалъ онъ,—лучше бы эти деньги мнѣ шли. Я бы ихъ къ дѣлу пристроилъ, а не такъ-то бы зря“.

Видѣлъ онъ тоже, какъ легко и какія большія деньги хозяинъ ихъ зашибалъ. И завидно ему стало на чужія деньги, и разгоралось въ немъ сердце.

Отработался онъ какъ-то разъ въ праздникъ, отбѣгался, проводилъ послѣдняго гостя, — и подошелъ къ буфету. Николай Николаичъ, — много хозяину денегъ идетъ? Ты, небось, себѣ нынче меньше набралъ?

— Ну гдѣ-жъ,—говоритъ Потапъ, — нешто наше дѣло къ ихъ примѣнить? Большому кораблю—большое и плаваніе.

Усмѣхнулся Николай Николаичъ, поглядѣлъ на Потапа и говоритъ:

— А знаешь, братъ, чѣмъ нашъ хозяинъ прежде былъ?

— Чѣмъ? говоритъ Потапъ.

— А тѣмъ-же вотъ, чѣмъ и ты теперь: половымъ изъ мужиковъ.

— Какъ-же такъ? говоритъ Потапъ.

— А такъ-же, братъ, что счастье человѣку. Ну да и голова тоже съ мозгомъ: умѣлъ не упустить своего счастья. Разскажу я тебѣ, пожалуй. Да только ты того... помалкивай.

— Будьте покойны, Николай Николаичъ.

— То-то, братъ. Жилъ, значитъ, онъ въ трактирѣ, въ половыхъ. Вотъ разъ и приходитъ къ намъ гость, богатѣющій, — шуба одна чего стоитъ, и подгулямши здорово,—кутитъ, значитъ. Хорошо. Вотъ подновился онъ еще у нихъ, какъ слѣдуетъ, — его и развезло. Сталъ разсчитываться. Бумажникъ вытащилъ,—пузатый, распузатый. Служитъ ему нашъ. Деньжищъ, видитъ, страсть. Глаза у него разгорѣлись. Хорошо. Вынимаетъ тотъ-то деньги изъ бумажника, на столъ кладетъ, — куча! Выбираетъ сторублевую. „Сдачи!“

говоритъ,—а самъ насилу сидитъ. Оглянулся такъ-то нашъ-то: не смотритъ ли кто, да—Господи благослови?—деньги-то салфеткой и накрылъ... Сбѣгалъ поскорѣй за сдачей, сунулъ ему ее въ одну руку, бумажникъ въ другую. Тотъ сдачу въ бумажникъ да и... въ карманъ. Проводилъ его нашъ до швейцара,—а самъ къ столу скорѣй, убирать... Убралъ и денежки... Ну и раздышался съ тѣхъ поръ. Теперь у него четыре трактира. Кажный на бойкомъ мѣстѣ и кажный въ собственномъ домѣ. Да подъ магазины и подъ квартеры помѣщенія отдаетъ. Большія деньги гребетъ. Да. Такъ-то вотъ, братъ, люди орудуютъ.

Слушалъ Потапъ,—слова не проронилъ. Выслушалъ, да и говоритъ:

— А, вѣдь, это грѣхъ, Николай Николаичъ!

— Ну, братъ, грѣхъ! И грѣхъ-то весь съ орѣхъ, можетъ. А за то жисть-то какая! Да и грѣха большаго я тутъ не вижу. У того, небось, еще много осталось, а эти все одно прахомъ бы пошли: прогулялъ бы, либо потерялъ бы ихъ гдѣ. А нашъ, по крайности, къ дѣлу ихъ пристроилъ. Сколько народу кругъ себя кормитъ! И намъ вотъ съ тобой кусокъ хлѣба даетъ. Грѣхъ. Какой тутъ грѣхъ? Просто счастье человѣку. Ну да и голова съ мозгомъ. Такъ-то. Прощай, братъ! Спи ступай.

Ушелъ Потапъ, но долго не спалъ эту ночь. Все думалъ о томъ, какое людямъ бываетъ счастье. А когда заснулъ наконецъ, не спокоенъ былъ его сонъ: все снились ему деньги, чужія, шальныя, незаработанныя деньги!

V.

И сталъ съ той поры Потапъ къ гостямъ приглядываться, а самъ все одно въ мысляхъ держитъ: какъ бы ему сразу разбогатѣть такъ же, какъ и хозяинъ

ихъ. И сталъ ужъ Потапъ въ этомъ мало грѣха видѣть.

„Что жъ,—думалъ онъ,—ежели тутъ и грѣхъ, такъ небольшой ужъ грѣхъ: вѣдь, гулящія это деньги, — такъ, прахомъ идутъ. Лучше же я ихъ къ дѣлу пристрою. И родныхъ изъ бѣдноты вытащу, и посторонних кругъ себя много кормить буду, и себѣ самому хорошо сдѣлаю. Съ разумомъ ежели, такъ къ деньгамъ легко пріобѣтать. Разбогатѣю я тогда—страть! Милліонщикомъ буду! И большими дѣлами заглажу я тогда этотъ маленькій грѣхъ, ежели и вправду есть тутъ какой грѣхъ: Храмовъ Божіихъ настрою, вклады въ монастыри внесу, добра сколько буду дѣлать! А самъ какъ жить буду! На какой кралечкѣ женюсь! Съ моими деньгами за меня пойдетъ любая барышня“... И начиналъ вспоминать Потапъ, какихъ хорошенькихъ барышень тутъ, въ городахъ приводилось видать ему..

А лукавый не дремалъ: все путалъ мысли Потапа да путалъ. И не шли ужъ у него изъ головы грѣшныя мысли о легкомъ богатствѣ. Замѣтилъ это лукавый и послалъ ему случай. И перевелъ онъ Потапа отъ мыслей къ дѣлу, къ страшному дѣлу.

На святой дѣло было. Пріѣхалъ къ нимъ разъ купецъ, толстый да красный такой, пожилой ужъ и, по всѣмъ видимостямъ, богатый, разбогатый. Подвыпивши былъ. Сталъ служить ему Потапъ.

— Пожалуйте,—говоритъ,—ваше степенство. Чего приказать изволите?

А самъ такъ кругъ него и вьется. „Не мое ли счастье,—думаетъ,—идетъ?“

Первымъ словомъ водки спросилъ купецъ, закуски къ ней; а тамъ еще закуски — подороже. А тамъ потелъ дорогія вина спрашивать. И чѣмъ больше хмѣлѣлъ купецъ, тѣмъ дешевле вина и закуски посылалъ ему Николай Николаевичъ, а въ счету писалъ доро-

гіе. Пьетъ купецъ, закусываетъ, а самъ все на машинѣ пѣсни играть.—„Братцы, – говоритъ, – утѣшьте меня! Хочу себя нынѣче,—говоритъ.—потѣшить: хорошее дѣльце нынѣче оборудовалъ! Заплачу,—говоритъ,—за все заплачу!“ А самъ изъ кармана бумажникъ вынимаетъ, большущій да толстый.—„Есть,—говоритъ,—изъ чего. Вотъ онѣ, Это,—говоритъ, – на баловство мое отдѣлены.“

И разгорѣлись у Потапа глаза на бумажникъ. „Эхъ,—думаетъ,—прахомъ пойдутъ. Не дамъ я думаетъ, купцу денегъ этихъ зря тратить: отберу ихъ себѣ и счастье свое на нихъ устрою. Грѣхомъ, вѣдь,—думаетъ,—и онъ ихъ, чай, нажилъ,—и на грѣхъ назначаетъ.“ И ждетъ, не дождется Потапъ, когда станетъ уходить купецъ.

Сталъ наконецъ голову купецъ клонить.., Очнулся немножко.

— Баста,—говоритъ. Будетъ съ васъ. Поѣду теперь въ другое мѣсто денежкамъ глаза протирать.

Достаетъ купецъ изъ бумажника радужную, Потапу протягиваетъ.

— Малый, говоритъ, сдачи!

Смотритъ Потапъ, куда бумажникъ купецъ положитъ. И видитъ: кладетъ его въ боковой карманъ. Загорѣлось злобой сердце у Потапа: ужъ онъ эти деньги своими почти считалъ. Широко распахнулъ купецъ карманъ; заглянулъ въ него Потапъ,—и видитъ: тамъ еще толстая пачка денегъ лежитъ, безъ бумажника ужъ, одной ленточкой перевязана Побѣжалъ онъ съ радужной за сдачей, захватилъ кстати со стола бутылку вина, не допитую купцомъ, и на ходу допилъ ее. Первый разъ въ жизни пилъ Потапъ. Ударило ему вино въ голову, еще пуще загорѣлось въ немъ сердце, и положилъ онъ въ умѣ своемъ не упускать случая и, во что бы ни стало, завладѣть купцовыми деньгами.

Воротился Потапъ со сдачей; подаетъ ее купцу, а самъ блѣдный весь сердце колотится, и глаза бѣгаютъ. Взялъ купецъ сдачу; три рубля Потапу бросилъ; остальное въ бумажникъ пихнулъ,—и опять въ карманъ. Хотѣлъ купецъ верхнюю пуговицу сюртука застегнуть, да руки не слушаются,—такъ и бросилъ ее не застегнутой.

Всталъ купецъ. Пошатнуло его... Подхватилъ его подъ руку Потапъ и къ шубѣ повелъ,—а самъ на карманъ оттопыренный косится...

Пока швейцаръ одѣвалъ купца, Потапъ къ двери бросился, отворилъ ее,—и говоритъ:

— Позвольте, ваше степенство, я васъ лѣстницы провожу.

Замычалъ купецъ что-то... Опять подхватилъ его подъ руку Потапъ и повелъ,

Идутъ по лѣстницѣ. Оглянулся Потапъ, не глядитъ ли кто. Сталъ купцу будто шубу запахивать, а самъ ему руку въ карманъ. Нащупалъ бумажникъ. Молніей сверкнула мысль: „Бумажникъ всѣ видѣли... Не надо... Да въ пачкѣ, должно, и денегъ много больше.“ И выдернулъ онъ пачку... Разомъ очнулся купецъ. Поглядѣлъ на Потапа большими, испуганными глазами,—и ужъ ротъ разинулъ, чтобы крикнуть, да не успѣлъ... Что было силы, толкнулъ Потапъ купца,—и полетѣлъ тотъ внизъ, по лѣстницѣ: головой объ каменную ступеньку ударился, вискомъ объ самое ребро, и какъ мѣшокъ на площадку скатился... Сунулъ Потапъ пачку въ карманъ и еще разъ глянулъ внизъ, на купца. Видитъ лежитъ куцецъ на каменномъ полу, шапка свалилась, голова въ крови, и только плечи вздрагиваютъ... Отвернулся Потапъ и побѣжалъ въ трактиръ.

Вбѣгаетъ? лицо бѣлѣе рубахи, и подбородокъ дрожитъ.

— Братцы, говоритъ, купецъ у меня вырвался и съ лѣстницы сорвался.

Сдѣлался шумъ, бѣготня. И сколько ни было въ трактирѣ народу, бросились на лѣстницу, смотрѣть... Потапъ улучилъ минутку, сунулъ деньги за шкапъ и побѣжалъ за другими.

Явилась полиція; докторъ прибылъ. Осмотрѣлъ купца докторъ; взялъ его за руку, сердце послушалъ... Бросилъ руку.

— Кончено, говоритъ. Сотрясеніе мозга, и черепная кость проломлена. Смерть была мгновенная.

Приступила полиція къ своему дѣлу. Обшарили карманы купца; бумажникъ нашли. Много цѣнныхъ бумагъ оказалось; изъ нихъ и имя купца узнали; нашли и деньги. Сосчитали деньги при понятыхъ 1980 р. 43 коп. вышло. Записали въ бумагу все, что нашли. Стали народъ опрашивать; кто что про купца сказать могъ; и тоже въ бумагу писали. Больше всѣхъ Потапа допрашивали. И ничего Потапъ: блѣдный только немножко былъ, а ничего—показанія давалъ спокойно, твердо и подробно. Точно окаменѣло въ немъ сердце и внутри все замерло. Разсказалъ Потапъ, какъ вошелъ купецъ и выпивши ужъ былъ; что спрашивалъ, сколько пилъ; какъ бумажникъ всѣмъ показывалъ; какъ онъ служилъ ему; какъ тотъ радужную вынулъ размѣнять и 3 руб. „на чай“ ему далъ; и какъ онъ пошелъ провожать купца.

— Прошли мы,—говоритъ, сколько-то ступенекъ. Споткнулся купецъ, пошатнулся, вырвался отъ меня и съ лѣстницы полетѣлъ... Не успѣлъ я,—говоритъ,—да и не могъ его удержать: здоровый да грузный такой былъ, а отъ вина отяжелѣлъ вовсе. Да и нечаянно очень это вышло...

Записали все; подобрали купца и увезли. И никакихъ подозрѣній ни на кого не заявили. Несчастный случай, молъ,—больше ничего. Про пачку купцову

никто не зналъ, а бумажникъ съ деньгами и бумагами былъ цѣлъ. Дѣло было чистое. Сдѣлали только легкое внушеніе трактиру, чтобъ получше у нихъ за пьяными смотрѣли.

Замыли кровь на лѣстницѣ,—и скоро все въ трактирѣ стало успокоиваться, хоть разговоры о „происшествіи“ и не прекращались до конца торговли.

Дождался Потапъ, какъ стали закрывать трактиръ; выбралъ время, досталъ деньги изъ-за шкапа, захватилъ огарокъ—и побѣжалъ на чердакъ. Осмотрѣлся Потапъ хорошенько, сѣлъ въ уголъ на корточки, оглядѣлъ пачку... Видитъ: на ленточкѣ надпись „*двадцать тысячъ*“! Еще разъ осмотрѣлся кругомъ... развязалъ пачку... сосчиталъ... Вѣрно! Зарылъ Потапъ деньги въ мусорѣ на чердакѣ, заставилъ сломаннымъ кресломъ и пошелъ спать.

Только не спалъ Потапъ всю ночь. Счастіе его устроилось: онъ богатъ,—и все кончилось благополучно. Жалко только, что очнулся купецъ, и пришлось столкнуть его. Не хотѣлъ этого Потапъ, да такъ ужъ вышло. Такая, знать, линія купцова была. Что-жъ Потапу было дѣлать? Вѣдь, погубилъ бы его купецъ! И какое ему счастіе, что умеръ *онъ* сразу, не выдалъ его: никто теперь не узнаетъ про его грѣхъ. Да, счастіе!.. Только говорила Потапу совѣсть, что не отъ Бога это счастіе, что не надо человѣку такого счастія, что не счастіе это, а погибель! И не чувствовалъ Потапъ ни радости, ни спокойствія, а слышалъ, что точно сосетъ его что-то подъ сердцемъ... И только станетъ забываться Потапъ, представляется ему: лежитъ купецъ на лѣстницѣ, шапка свалилась, голова въ крови, и плечи вздрагиваютъ... И проснется Потапъ, и не спитъ опять...

А лукавый радуется и ликуетъ, что погубилъ человѣка, что не Божій теперь Потапъ, а его.

VI.

Съ той поры сталъ пасмурный Потапъ. Ни развязности, ни проворства на немъ прежняго не стало; работаетъ точно нехотя. Все задумавшись ходитъ, либо безпокойся поглядываетъ да прислушивается, не замѣчаютъ ли чего за нимъ, не говорятъ ли про него чего. Самъ разговарнвать мало сталъ, развѣ по дѣлу спросить что нужно, либо его кто спроситъ, такъ отвѣтитъ, и то иной разъ не сразу, а какъ будто очнется сначала, либо безпокойно глянетъ изъ подлобья: „спроста, молъ, ты это, аль нѣтъ?“ Смѣяться совсѣмъ пересталъ. За то думать больше началъ, — особливо ночью, какъ спать ляжетъ: не спится ему долго теперь.

„Вотъ,—думаетъ,—скоро теперь эту глупую службу брошу: свое дѣло заводить буду. Только погодить надо, чтобы догадываться о чемъ не стали. Спѣшить не къ чему: и обдумать все хорошенько нужно, чтобы какъ лучше да умнѣе, и капиталовъ своихъ сразу показывать не слѣдъ. Да, деньги не маленькія! Хорошее на нихъ дѣло можно устроить. Кончена маята моя. Другая жизнь теперь пойдетъ; большимъ человѣкомъ буду. Деньги... почетъ... Къ деньгамъ еще деньги пойдутъ. Получай только, Потапъ Васильичъ,— и живи въ свое удовольствіе, купайся какъ сыръ въ маслѣ!“

Думаетъ такъ-то Потапъ, точно повеселить себя хочетъ; а все не веселѣй у него на сердцѣ, и будто сосетъ что подъ нимъ...

А тутъ еще Николай Николаичъ пуще разстроилъ его. Подзываетъ его разъ тихонько къ себѣ, да и говоритъ:

— А, вѣдь, пожалуй, твоя правда, Потапъ!

— Какая,—спрашиваетъ Потапъ,—правда?

— А помнишь, я тебѣ про хозяина нашего разсказывалъ, какъ онъ богатство свое нажилъ?

У Потапа сердце застучало и глаза безпокойно забѣгали.

— Ну? говоритъ.

— Пожалуй, говорю, выходитъ правда твоя: грѣхъ это.

— А что? спрашиваетъ Потапъ, а самъ блѣдный весь сдѣлался, и потъ на лбу выступилъ.

— А то, братъ, что наказываетъ его Господь. Не пошли ему эти деньги въ прокъ. На-дняхъ, говорятъ, сто тысячъ въ банкѣ лопнуло. А съ самимъ теперь припадки стали дѣлаться. Упадетъ, говорятъ, безъ памяти, руки и ноги корчитъ ему, на губахъ пѣна покажется... Полежитъ такъ сколько-то времени, отойдетъ; а все словно ему не по себѣ: то по церквамъ да по часовнямъ пойдетъ Богу молиться, а то вдругъ вина напьется, совѣсть, значитъ, залить хочетъ. Да не веселитъ, братъ, его и вино; еще скучнѣй сдѣлается и все шепчетъ про себя: „нехорошія это деньги; какъ я за нихъ буду Богу отвѣчать?“ А тамъ, глядишь, опять припадокъ. И разсудкомъ, говорятъ, слабѣть началъ, — а какой орелъ былъ! Съ мозгомъ голова была! Призывали докторовъ. „Разстройство“, — говорятъ. Лѣчить начали, да не помогаютъ. Такъ-то, братъ. Правда, знать, твоя была: грѣхъ это. Не пойдутъ такія деньги въ прокъ; и рано ли, поздно ли, а Богъ за нихъ накажетъ.

Отошелъ Потапъ отъ Николая Николанча и еще пасмурнѣй съ того времени сдѣлался. „Вотъ, — думаетъ, — его грѣхъ много меньше моего былъ, и то какъ его Богъ наказываетъ! Что же мнѣ за мой будетъ?“

И еще тоскливѣй пошла жизнь Потапа. Къ работѣ руки не лежатъ совсѣмъ. Вездѣ ему боязно да жутко стало: въ залу войдетъ—все на то мѣсто смотритъ, гдѣ купецъ сидѣлъ; на лѣстницу выйдетъ—вспоминаетъ, какъ онъ *его* провожать пошелъ, какъ въ кар-

манъ залѣзъ, пачку вытащилъ, какъ *тотъ* глянулъ на него, и какъ онъ изо всей силы толкнулъ *его*; а внизъ, на ту площадку глянуть, гдѣ лежалъ *тотъ*, и *кровь* была—совсѣмъ трудно Потапу. Трудно, а все поглядѣть хочется... Раза два нарочно сходилъ Потапъ. И слѣдовъ никакихъ не было,—всѣ, можетъ, и думать забыли, а Потапу все такъ ясно представляется, словно онъ и сейчасъ все видитъ: лежитъ неподвижно человѣкъ толстый, шапка свалилась, голова въ крови, и плечи вздрагиваютъ... Тяжело все это было. И рѣшилъ Потапъ, что не жизнь ему въ трактирѣ этомъ. Чѣмъ скорѣй отойти, тѣмъ лучше: думаться меньше будетъ, и, авось, скорѣй все позабудется. А тутъ отъ отца изъ деревни письмо пришло. Пишетъ: строиться началъ, избу новую становитъ. Придрался къ этому случаю Потапъ. Объявилъ, что уходить ему надо: дѣла, молъ, въ деревнѣ — нельзя ему оставаться тутъ. Сталъ было уговаривать его Николай Николаичъ; уперся Потапъ: нельзя, молъ,—дѣла, стройку отецъ началъ, покосы подходятъ; не управиться одному старику съ мальчёнкой. Заикнулся было Николай Николаичъ, что принанять бы лучше въ деревнѣ кого,—да Потапъ все свое ладилъ: никакъ, молъ, нельзя; отецъ зоветъ, „нельзя мнѣ противъ родителя итить“.

Такъ и отошелъ Потапъ. Трехъ недѣль до Петрова дня не дожилъ. Собралъ свои пожитки; потихоньку за деньгами на чердакъ сходилъ; провѣрилъ ихъ опять, зашилъ въ тряпку и на шею повѣсилъ; продалъ за два цѣлковыхъ сундукъ, что было въ Москвѣ купилъ; легкую трактирную одёжу снялъ одѣлся, въ свою старую, мужицкую, мѣшокъ опять за спину привѣсилъ и обратнымъ путемъ въ деревню пошелъ.

Поглядѣть на Потапа: совсѣмъ такимъ же онъ въ дерезню ворочался, какимъ и уходилъ изъ нея. Только деньги на себѣ не маленькія несъ, да въ душѣ грѣхъ большой,—тяжелый, кровавый грѣхъ...

VII.

Пришелъ Потапъ въ деревню; подарковъ да гостинцевъ московскихъ роднымъ принесъ. Обрадовались ему, ничего; хоть и удивились было сначала. Да подалъ Потапъ отцу всѣ 60 руб., что скопилъ въ Москвѣ, и разсказалъ, что помогать пришелъ: теперь, молъ, и тутъ дѣловъ много; а въ Москвѣ на лѣто народу много разъѣзжается,—торговля идетъ плохая, и доходу очень мало; да и объ домѣ бы все сердце переболѣло; теперь онъ тутъ нужнѣй будетъ, а къ зимѣ опять можно туда; мѣсто онъ себѣ тамъ легко найдетъ.

Рѣчь эту Потапъ дорогой обдумалъ. Понравилась рѣчь старику: „Ишь,—думаетъ,—домовитый парень какой! и разсудилъ правильно,—хоть бы старому!“

— Ну что жъ,—говоритъ,—Потапушка! И хорошо сдѣлалъ. Правильно ты это. Поработай тутъ съ нами, помоги намъ. На нуждишку нашу теперь хватитъ; а тамъ видно будетъ. Хлѣбушка нынче, неча Бога гнѣвить, хорошъ уродился: есть надъ чѣмъ и потрудиться. Лучше надъ нимъ, надъ хлѣбушкомъ-то, надъ батюшкой, работать: грѣха меньше. А то, братъ, хоть ты и разуменъ—отъ, а все, признаться, мнѣ боязно за тебя было, какъ въ городу-то ты жилъ.

Поблѣднѣлъ Потапъ, какъ отецъ про грѣхъ помянулъ, точно кольнуло его что; да, благо, не замѣтилъ этого старикъ.

„Поздно,—подумалъ малый,—грѣха мнѣ теперь беречься: съ собой его принесъ“. И рѣшилъ Потапъ никому изъ родныхъ про деньги свои не сказывать. Еще какъ изъ Москвы уходилъ, купилъ онъ жестянку большую, съ крышкой,—и въ мѣшкѣ ее принесъ. Схоронилъ онъ эту жестянку ото всѣхъ, какъ мѣшокъ развязывалъ; а когда пошелъ спать въ сарай, въ телѣгу,

захватилъ и ее съ собой. Вырылъ Потапъ желѣзной лопатой въ сараѣ, въ углу яму поглубже; снялъ деньги съ шеи, въ жестянку положилъ, закопалъ ее въ яму и землю получше утопталъ, чтобъ незамѣтно было. Рѣшилъ онъ никому про эти деньги не сказывать и не трогать ихъ до осени, до тѣхъ самыхъ поръ, какъ въ Москву пойдетъ дѣло свое заводить и новую жизнь зачинать.

А, пока что, сталъ жить по прежнему Потапъ. Работаетъ за двоихъ: и на полѣ справляется, и на стройку помогать поспѣваетъ; ведетъ себя хорошо: съ гуляками не вяжется, не грубитъ никому. Опять всѣ не нарадуются на Потапа. Одну только перемѣну замѣчаютъ въ немъ; скучнѣй словно сталъ Потапъ, угрюмѣй какъ-то, съ лица темнѣй; молчаливѣй сталъ, не смѣется никогда. Допрашивали было его, не хвораетъ ли чѣмъ,— да „нѣтъ“ говоритъ; даже будто серчаетъ, какъ допрашивать начнутъ. Такъ и оставили Потапа.

Межъ тѣмъ и покосы отошли, и съ хлѣбушкомъ управились; а тамъ, — глядь,—и изба новая поспѣла. Ничего изба вышла—свѣтлая, просторная, чистая: не хуже другихъ. За то и денегъ не жалѣли: ни копѣйки не осталось; вышло больше, чѣмъ думали: ужъ сѣно продали—послѣднія заплатить. Ну да за то теперь изба новая. Ишь, красавица стоитъ! На долго пойти можетъ, если Господь отъ огня убережетъ. Урожай тоже на счастье нынче хорошъ Богъ далъ. Стали хлѣбъ молотить, въ городъ возить, продавать. Опять копѣйка въ дому завелась.

И сталъ старикъ Василій себѣ въ бороду посмѣиваться, на новую избу поглядывать, да поговаривать;

— Эхъ, хороша новая изба, просторна; можно бы въ нее теперь и хозяюшку новую привести, главному нашему работнику на радость, а намъ съ старухой на утѣху да на подмогу.

Молчитъ Потапъ,—точно это его и не касается вовсе, а самъ ходитъ все такой же задумчивый да темный. Удивляется на него старикъ. „Аль,—думаетъ, зазнобу какую тамъ въ Москвѣ завелъ себѣ, да скучаетъ по ней?“ Сталъ пытать малаго. Побожился ему Потапъ, что ничего такого нѣтъ. Еще больше удивился старикъ, покачалъ головой, и никакъ не могъ понять, что это подѣлалось съ парнемъ. „Нѣтъ,—думаетъ,—и впрямь надо женить его поскорѣй: авось, молодая жена лучше насъ стариковъ съумѣетъ разогнать эту чудную тоску его“. И крѣпко эта мысль засѣла въ голову Василію.

Послѣ разговора съ отцомъ раздумался о себѣ и Потапъ. „Что-жъ это? думалъ онъ: какъ воротился я въ деревню да принялся за старую работу, точно чуточку и полегче мнѣ на душѣ стало, чѣмъ было въ Москвѣ. А тамъ какъ поглядѣлъ я вотъ на нихъ, на всѣхъ,—какъ честно они каждый свой кусокъ зарабатываютъ, да какъ спокойно у нихъ оттого на душѣ, такъ и засосало опять подъ сердцемъ что-то: все мнѣ мои нечестныя, незаработанныя деньги вспоминаются, что въ сараѣ зарыты, да пролитая кровь, которой запятналъ я свою душу. И стыдно мнѣ глядѣть на этихъ людей и работать съ ними, и Бога мнѣ страшно, и давитъ онъ меня, этотъ грѣхъ: никакъ не могу позабыть его, объ другомъ объ чемъ думать начать. Развѣ, вправду, жениться попробовать?“

И вспомнилась ему Аннушка, Алексѣева дочь, что дворъ объ дворъ съ ними жила. Съ малыхъ лѣтъ онъ ее зналъ; мальчишкой, бывало, съ ней игрывалъ. И такъ они дружны съ ней всегда были! Она съ нимъ, бывало, послѣднимъ кускомъ дѣлится, а онъ ребятишкамъ никому обижать ее не давалъ. Еще въ тѣ самыя поры ихъ „женихомъ“ съ „невѣстой“ прозвали. Послѣ ужъ и работать ему съ ней вмѣстѣ приходилось, и въ хороводы по вечерамъ да по праздникамъ

вмѣстѣ хаживали. Теперь ужь восьмнадцатый годъ дѣвкѣ идетъ. И вспомнилъ Потапъ, какъ покраснѣла отъ радости Аннушка, когда въ первый разъ послѣ Москвы его встрѣтила; да и ему тоже пріятно было увидѣть ее. Всегда ему эта дѣвка нравилась. Изъ себя пригожая такая, статная, румяная, съ ясными, карими глазками, — такъ въ душу и смотрится ими, такъ къ сердцу и ластится! Работница хорошая: всякое у ней тоже дѣло въ рукахъ спорилось. Нравомъ тихая, привѣтливая, а сердцемъ добрая да привязчивая какая! Хорошая жена изъ нея будетъ. „Что-жъ,— думалъ Потапъ,—отчего мнѣ на ней не жениться? Все, можетъ, веселѣй мнѣ съ нею будетъ; скорѣй мой грѣхъ забудется и тоска эта проклятая пройдетъ; и то ужь всѣ замѣчать стали. Не такую мнѣ, правда, жену, съ деньгами моими, взять слѣдовало, да ничего, сойдетъ и эта,—съ деньгами и эта хороша будетъ,— и ее въ люди выведу. Еще какъ до Москвы у насъ съ отцомъ рѣчь про свадьбу была, я Аннушку въ головѣ держалъ. И хоть никогда у насъ съ ней разговора объ этомъ не было,—а знаю, по душѣ я ей: пойдетъ дѣвка, съ охотой пойдетъ“.

Отыскалъ Потапъ старика своего.

— Что-жъ,— говоритъ,—батюшка, я жениться не прочь. Только на комъ ты меня женить думаешь?

Обрадовался Василій.

— Вотъ это,— говоритъ, — умная рѣчь! А объ невѣстѣ не сумлѣвайся: выберемъ малый! Не изъ послѣднихъ тоже и нашъ дворъ: да и за этакаго орла любая дѣвка пойдетъ. Чай, высмотрѣлъ ужь какую и самъ? Сказывай ужь.

Помолчалъ Потапъ.

— Что ты, — говоритъ, — батюшка, объ Аннушкѣ скажешь?

Засмѣялся Василій.

— Такъ я, говоритъ, и думалъ. Не даромъ ее еще дѣвченкой „невѣстой“ твоей прозвали. Что-жъ, дѣвка хорошая. Худаго про нее никто не скажетъ. И тянуть нечего. Пойду старухѣ скажу. Она намъ это дѣло живо оборудуетъ.

Обрадовалась и Маланья Патапова, и Семка, братишка, тоже словно радъ былъ. У всѣхъ на душѣ посвѣтлѣло точно. Авось, думаютъ, пройдетъ тоска Потапова. Да и Аннушка всѣмъ имъ люба была: давно они ее знали, и за хорошую дѣвку знали. И дворъ Алексѣевъ не изъ худыхъ былъ; изъ такого двора не совѣстно взять.

Одѣлась Маланья по-праздничному и къ теткѣ Матренѣ, Аннушкиной матери, пошла. Издалека рѣчь повела, да мигомъ догадалась баба. Сладилось дѣло. На Покровъ и свадьбу сыграли.

VIII.

Зажилъ Потапъ съ молодой женой. И хорошо зажилъ. Славная изъ Аннушки молодайка вышла. И любили-жъ они съ Потапомъ другъ друга! Ни разу одинъ другому обиднаго слова не сказали, а какъ одни останутся, сейчасъ другъ къ дружкѣ приласкаться норовятъ. И отдумалъ Потапъ въ Москву на зиму идти. Да и Василій ему отсовѣтовалъ; а какъ дома зимой мало дѣла было, и человѣкъ къ тому же лишній прибавился, то отдалъ онъ Семена въ батраки, на барскій дворъ, тутъ же въ селѣ: и на глазахъ молодой парень будетъ, и лишнюю копѣйку, какую ни на есть, въ домъ принесетъ.

Хорошо жилось эту зиму Потапу! Чуть-чуть онъ не позабылъ и грѣха своего великаго и тоски неизбывной своей. Да нѣтъ, не совсѣмъ позабылись они, этотъ грѣхъ тяжелый и тоска неотступная...

Ласкаетъ иной разъ Потапъ свою Аннушку, а самъ думаетъ: „что еслибъ знала она, какими руками ласкаю я ее? Разлюбила бъ она меня, страшенъ и противенъ бы я ей сдѣлался, и ушла бъ она отъ меня“. Темнѣло лицо Потапа, отходилъ онъ отъ Аннушки, сумраченъ дѣлался и день, и два такой ходилъ... И удивлялись на него люди, и сторонились отъ него.

А время межъ тѣмъ шло да шло. Теплѣй стало солнышко припекать; весна подошла; отшумѣли ручьи; травка на лугахъ зазеленѣла, подросла; скосили ее, засушили и въ стога душистые сметали; а тамъ и хлѣбушка подоспѣлъ.

Оставилъ Василій Семена въ батракахъ у барина и на лѣто. Со всѣмъ одни управились, хоть Потапъ и не во всякую работу молодайку свою пускалъ: тяжела она была.. Подъ самый Ильинъ день Богъ ей сына послалъ. Ильей и назвали. И какъ же ему всѣ рады были! А больше всѣхъ самъ Потапъ.

Только не надолго ему и эта радость была. Не могъ онъ своего сына ни на руки взять, ни приласкать. „Какъ я,—думалъ онъ про себя,—буду своими кровавыми руками невиннаго младенца ласкать? И что будетъ, ежели онъ выростетъ да узнаетъ какъ, что его отецъ *убивецъ* былъ? Какъ-то легко ему будетъ слышать да сносить, ежели его этимъ начнетъ народъ попрекать? Понадобились мнѣ эти деньги проклятыя! Жилъ бы да жилъ теперь безъ нихъ покойно да счастливо такъ, что лучше бъ и не надо. А теперь заѣстъ меня этотъ грѣхъ мой!“

И темнѣло день ото дня лицо Потапа; все сумрачнѣй да страшнѣй становился онъ. И сторонились отъ него люди, точно на немъ была особая печать какая. Замѣчалъ это Потапъ, и не въ моготу ему стало...

Баринъ, у котораго жилъ Семенъ, получалъ газеты. И разсказывалъ Семенъ: пишутъ въ газетахъ, разлютовался Турка надъ братьями нашими, Болгарами и

Сербами; надругается надъ вѣрой православной, храмы Божіи, женъ и дѣвъ христіанскихъ сквернитъ, младенцевъ невинныхъ на части рѣжетъ. И возстали противъ нихъ Болгары съ Сербами, да силы у нихъ мало; одолѣваетъ онъ ихъ. И будто пошли на подмогу имъ много нашихъ русскихъ, добровольцами, постоять вмѣстѣ съ ними за вѣру нашу православную и не дать Туркѣ нечистому наругаться надъ ней и надъ братьями нашими.

„Вотъ,—думаетъ Потапъ,—куда мнѣ идти надо. Постою и я съ другими за братьевъ нашихъ христіанъ и за вѣру православную. Можетъ, и животъ свой за нее положу. И очищу я тѣмъ свой грѣхъ великій предъ Богомъ. А тутъ жить мнѣ больше не въ мочь стало. Какъ разъ до другаго грѣха дойдешь и руки на себя наложишь!“

Открылъ свои мысли Патапъ старику своему; про грѣхъ только умолчалъ. Удивился на него старикъ. Сталъ было его отговаривать.

— Коли,—говоритъ,—тебѣ насъ съ старухой не жалко, хоть бы объ женѣ съ ребенкомъ подумалъ.

На своемъ стоялъ Патапъ,—и не сталъ его больше старикъ удерживать. „Пущай,—думаетъ,—идетъ; можетъ, и вправду тоску свою лютую размыкаетъ тамъ, и легче ему послѣ будетъ. А ежели сохранитъ Господь, и оттуда вернется. Всѣ подъ Богомъ ходимъ.“

Разсказали домашнимъ. Много слезъ при прощаньѣ было. Попрощался Потапъ съ отцомъ, съ матерью, съ братомъ, Аннушку свою обнялъ и къ груди прижалъ, хотѣлъ младенца перекрестить, да не могъ Потапъ; только поглядѣлъ на него, и на глазахъ слезы показались.

Пошелъ Патапъ къ барину, отставной полковникъ тотъ былъ. Научилъ онъ Потапа, куда идти и къ кому обратиться, письмо отъ себя далъ. И ушелъ Потапъ.

IX.

Два года пропадалъ онъ, и никакихъ вѣстей отъ него не было. На третью весну воротился Потапъ. И какъ-же обрадовались ему семейные! Четыре раны получилъ онъ, медалью награжденъ. Не берегъ своей жизни Потапъ и своею храбростью обратилъ на себя вниманіе начальства. Всѣ знали Потапа и уважали за великую храбрость его. Послѣдній разъ тяжело онъ раненъ былъ. Не чаяли ему и живому быть. Однако сохранилъ его Господь. Два мѣсяца онъ въ госпиталѣ пролежалъ; но одолѣла молодая, крѣпкая натура лютую болѣзнь. Выписали его, для окончательной поправки на родину отпустили.

Принялся Потапъ опять за старую деревенскую работу. И ничего, не отвыкъ, хорошо работалъ. Все лѣто работалъ со своими Потапъ. Тоска его неотступная точно лёгче немного стала, а все не прошла совсѣмъ, и не спокоенъ былъ Потапъ. „Мало,— думалъ онъ,—я грѣхъ свой великій искупилъ. Не то все это. Не перестаетъ меня совѣсть мучить. И деньги эти проклятыя въ сараѣ лежатъ.Куда мнѣ дѣвать ихъ? Что дѣлать съ ними? Ходилъ онъ недавно въ сарай, жестянку свою откопалъ и на деньги посмотрѣлъ: въ сохранности лежатъ. Закопалъ ихъ опять Потапъ и землю утопталъ.

Къ концу лѣта надумалъ Потапъ по монастырямъ походить: Богу помолиться и старца праведнаго поискать, открыть ему всю душу, про тоску свою и про грѣхъ свой великій поговорить, какъ ему искупить его, и про деньги проклятыя спросить, какъ ему отъ нихъ избавиться.

Сказалъ Потапъ домашнимъ. Не отговаривали его, „Что-жъ,—думаютъ,—Божье это дѣло. Пущай на богомолье сходитъ, а то опять паренъ тосковать что-то сталъ“.

Сдѣлалъ себѣ Потапъ котомку странничью, жестянку свою съ деньгами откопалъ и въ нее положилъ, хлѣбушка черстваго на дорогу взялъ, палку выломалъ, попрощался съ домашними и ушелъ...

Много монастырей обошелъ Потапъ, вездѣ долгія службы простаивалъ, горячо молился о грѣхѣ своемъ. Услышалъ онъ наконецъ, что въ одномъ дальнемъ монастырѣ спасается старецъ, и далеко про него хорошая слава идетъ; много народу къ нему ходитъ. Пошелъ Потапъ въ этотъ монастырь Пришелъ въ монастырь; два дня въ церковь ходилъ, со слезами молился, на третій день къ старцу пошелъ.

Поглядѣлъ Потапъ на старца, — и повернулось у него къ нему сердце: маленькій, худенькій, лице постное, а глаза—тихіе, добрые, такъ въ душу и смотрятъ, и точно грѣютъ ее, благословляютъ и о Богѣ ей говорятъ. Упалъ Потапъ на колѣни передъ старцемъ, заплакалъ тихими слезами и открылъ ему свою душу. Обо всемъ разсказалъ Потапъ: и о грѣхѣ своемъ страшномъ, и о тоскѣ великой своей, и всю свою жизнь разсказалъ.

Выслушалъ его старецъ; заглянулъ ему въ душу добрыми глазами, благословилъ.

— Проститъ,—говоритъ,—Богъ, проститъ. За тоску твою великую грѣхъ твой великій проститъ. Проститъ Богъ. А деньги эти раздай, по нищей братіи да по бѣднымъ раздай. По селамъ, по деревнямъ и по городамъ ходи, вездѣ ходи. Присматривайся, гдѣ кто нуждается, бѣдствуетъ, гдѣ кому что нужно,— и помогай; на нужду подавай, — не больше, не больше. И купца вели за упокой помнить. А на себя этихъ денегъ не трать. Христовымъ именемъ живи, странникомъ; подадутъ; сытъ будешь. А отъ благодарности убѣгай, убѣгай отъ благодарности, чтобъ не благодарили тебя люди за деньги эти. Когда раздашь все, въ деревню ступай, къ роднымъ. Созови народъ,

покайся передъ нимъ, разскажи ему все о грѣхѣ своемъ страшномъ и о тоскѣ великой, какъ мнѣ разсказалъ. А послѣ властямъ въ руки отдайся; безъ ропота перенеси все, что назначатъ тебѣ. И легко тебѣ будетъ; не будетъ тоски. Проститъ Богъ, проститъ. Благослови тебя Богъ!

Еще разъ благословилъ старецъ Потапа и отпустилъ его. Легко ему стало на душѣ; тихія слезы по лицу текли, и сердце словно отдыхало и оживало.

X.

Все сдѣлалъ Потапъ, какъ сказалъ ему старецъ. Всюду ходилъ онъ, питаясь Христовымъ именемъ и высматривая нужду людскую. И многимъ во-время помогъ онъ. Подавалъ, гдѣ можно было, тайно и оставлялъ записку съ именемъ купца, чтобы поминали его за упокой. Гдѣ нельзя было тайно, подавалъ явно; только просилъ неблагодарить его, потому не его это деньги, а посланъ онъ; и опять сказывалъ имя купца, чтобъ за упокой поминать.

Цѣлый годъ проходилъ Потапъ; роздалъ все и пошелъ въ деревню, къ роднымъ. И тамъ сдѣлалъ онъ все такъ, какъ сказалъ ему старецъ.

Обрадовались Потапу родные. И видятъ они, словно онъ свѣтлѣй лицомъ сталъ, и тоски прежней въ глазахъ много меньше было. Еще больше обрадовались они. Пожилъ такъ съ ними Потапъ дня два; на третій черезъ старосту народъ на сходку собралъ.

Сталъ Потапъ посреди̇нѣ народа, на колѣни упалъ и громкимъ голосомъ покаялся во всемъ: про грѣхъ свой страшный разсказалъ и про тоску великую. Кончилъ Потапъ, поклонился на всѣ четыре стороны и со слезами на глазахъ простить его, Христа ради, просилъ, что онъ имя христіанина опозорилъ, родину и

село свое срамомъ покрылъ и что жилъ между ними, какъ честный и про грѣхъ свой молчалъ.

Смотрѣлъ народъ на Потапа, притихъ весь; а какъ про тоску онъ свою великую говорилъ да слезами простить его, Христа ради, просилъ, больше половины народу плакало.

Подошелъ Потапъ къ роднымъ своимъ; поклонился въ землю отцу, матери, брату, женѣ и сынишкѣ своему маленькому и у нихъ у всѣхъ съ великими слезами прощенья попросилъ.

Подошелъ послѣ Потапъ къ старостѣ и попросилъ его въ городъ къ начальству свезти.

———

Повезли Потапа... Заплакала Аннушка и просила старосту и ее съ Илюшкой въ городъ взять. Не могутъ, молъ, они жить безъ Потапа,—и куда его отправятъ, туда и они пойдутъ. Захватилъ староста и ихъ.

Когда везли Потапа, былъ онъ свѣтелъ лицомъ, и прежней тоски въ глазахъ слѣда не было.

Анатолій Александровъ.

ИДЕАЛЪ и СТРАСТЬ

П. Е. Астафьева.

ИДЕАЛЪ И СТРАСТЬ.

I.

Кто изъ насъ, живущихъ сколько-либо сознательно, не задумывался искренно надъ вопросомъ о такъ называемой „разумной жизни,“ ея требованіяхъ и условіяхъ? Кому не предносился болѣе или менѣе опредѣленный идеалъ такой жизни, обладающей и достоинствомъ, и полнотою содержанія, достигающей того, чего ужъ такъ давно ищутъ и моралисты и философы подъ именемъ „истиннаго блага“? Къ сожалѣнію громадное большинство разрѣшавшихъ такъ или иначе этотъ вопросъ разумность жизни понимали чрезвычайно односторонне.

Разумность жизни видѣли обыкновенно въ повозможности ничѣмъ не нарушаемой ея *раціональности*—въ такомъ жизненномъ поведеніи, гдѣ и мысли, и чувства, и поступки безусловно цѣлесообразны, расчитаны безошибочно на достиженіе намѣченной цѣли, будь эта цѣль благо личное или благо общее. Цѣлесообразность, полезность съ точки зрѣнія намѣченной цѣли, строгая расчитанность всякаго жизненнаго шага съ этой точки зрѣнія—вотъ что наи-

чаще отождествлялось съ искомою „разумностью жизни“. Стройный, чуждый всякаго внутренняго противорѣчія, строго исключающій возможность всякой непредвидѣнной случайности, всякаго недочета—*планъ* жизни съ этой точки зрѣнія представляется непремѣннымъ условіемъ ея разумности. Строго размѣренныя, расчитанныя чувства, стремленья и желанія, здравыя, не идущія въ разрѣзъ съ наличной окружающей дѣйствительностью, но лишь раскрывающія намъ пути къ благоразумному пользованію ея благами, понятія и теоріи—вотъ чѣмъ должна наполняться жизнь истинно разумная. Все, не входящее въ планъ, все не поддающееся расчету, нецѣлесообразное, всякая случайность и всякій порывъ, открывающій возможность недочета, ошибки, непредвидѣннаго страданья, съ точки зрѣнія этой житейской мудрости, *истинно разумной* жизни существенно враждебно. Какъ на образцы такого пониманія „разумной“ жизни укажемъ въ особенности на ученія всѣхъ безчисленныхъ эволюціонистовъ нашего времени, ученія нашего Графа Л. Н. Толстаго, Сёлли (Послѣднія главы его книги „О пессимизмѣ“) и многія другія. Дѣйствительно-ли права эта житейская мудрость въ своемъ пониманіи разумной жизни, какъ *только раціональной*, строго исключающей все неподдающееся, чуждое и даже вражденное какимъ-либо разсудочнымъ расчетамъ? Дѣйствительно-ли такая строго расчитанная, всецѣло цѣлесообразная жизнь окажется и наиболѣе достойною и ведущею къ истинному благу или даже только счастью? Не представится-ли

она наоборотъ, при ближайшемъ разсмотрѣніи, и далеко не высоко—достойною и отнюдь не увеличивающею наше богатство истинными благами и счастіемъ?

По счастливой непослѣдовательности ,отличающей и дѣйствительную, несочиненную исторію, и здоровую, богатую содержаніемъ личную внутреннюю жизнь--это *теоретическое* представленіе „о разумной жизни“, какъ *дѣлаемой* человѣкомъ по строгому расчету цѣлесообразности, далеко не встрѣчаетъ себѣ особеннаго одобренія въ эстетической и моральной оцѣнкѣ большинства. Холодная расчитанность всего жизненнаго поведенія,—всѣхъ мыслей, чувствъ и стремленій человѣка, неспособность его къ ошибкѣ, нецѣлесообразному порыву, такъ сказать, *дѣланность* всей его жизни и его характера,—всего чаще нетолько не вызываютъ къ нему симпатіи, не дѣлаютъ его въ глазахъ людей интереснѣе, красивѣе и привлекательнѣе, но даже вызываютъ нѣкоторый оттѣнокъ *презрѣнія*. Увеличайшего знатока людей, Шекспира, одно изъ дѣйствующихъ лицъ, желая выразить своему собесѣднику самую глубокую степень презрѣнія, упрекаетъ его именно въ дѣланности, какъ-бы по мѣркѣ, говоря ему: „тебя не мать родила, тебя сшилъ портной.“ Менѣе рѣзко, но гораздо изящнѣе и даже пожалуй еще злѣе выразила тоже презрѣніе къ господству въ характерѣ и манерѣ человѣка разсудочнаго расчета одна изъ славившихся своимъ остроуміемъ блистательныхъ хозяекъ, тѣхъ знаменитыхъ „Салоновъ“, которыми гремѣла до революціонная, ко-

ролевская Франція. Послѣ того, какъ ей былъ представленъ Вокансонъ, извѣстный въ то время механикъ, строитель автоматовъ, удивительно поддѣланныхъ подъ дѣйствительную жизнь,— человѣкъ всей душой погруженный только въ св и механическіе расчеты,—она выразила свое мнѣніе о немъ словами: Oh, un homme de mérite seulement il me fait l'effet de s'être fabriqué lui même! И у цѣлыхъ народовъ, въ языкѣ ихъ, мы найдемъ выраженіе того же презрительнаго отношенія къ исключительному господству въ духовномъ мірѣ человѣка безстрастнаго расчета. Такъ у нѣмцевъ до сихъ поръ одно изъ обычныхъ выраженій неодобренія есть O du lederner Mensch!—у насъ нѣсколько уже утратившее свой первоначальный смыслъ „чучело“ и друг.

А между тѣмъ одно изъ господствующихъ и характернѣйшихъ для него убѣжденій нашего времени состоитъ именно въ требованіи отъ жизни только раціональной, строго расчитанной цѣлесообразности—въ устраненіи изъ нея всего способнаго ее нарушить, вносящаго въ жизнь элементъ случайности, непредвидѣнности, безкорыстнаго, никакому разсчету неподдающагося. Находитъ себѣ это убѣжденіе удобнѣйшую теоретическую почву и основаніе въ широко распространенномъ нынѣ ученіи эволюціонизма, съ слѣдами котораго мы встрѣтимся во всѣхъ почти безъ исключенія нравственныхъ ученіяхъ современности. Для міровоззрѣнія эволюціонизма—цѣлесообразность жизненнаго поведенія, нашихъ мыслей, чувствъ и стремленій—есть высшее

начало оцѣнки ихъ достоинства. И всю задачу жизни и движущую ее по пути постепеннаго развитія силу, и весь смыслъ ея—это міровозрѣніе видитъ исключительно въ *приспособленіи* живаго организма къ условіямъ окружающей его среды. Только по скольку достигнуто это приспособленіе, по столько и существуетъ для организма возможность выжить, не погибнуть; чѣмъ выше, точнѣе степень приспособленія, тѣмъ большая и возможность жизни. Съ выживаніемъ только тѣхъ организмовъ, которые болѣе успѣли приспособиться къ средѣ, которыхъ дѣятельность поэтому болѣе цѣлесообразна, усовершенствуются постепенно и самые пріемы приспособленія, изъ которыхъ наиболѣе цѣлесообразные становятся привычными, инстинктивными, органическими. Усовершенствуются и самые организмы, достигая черезъ рядъ ступеней все болѣе полнаго и точнаго, обезпечивающаго дальнѣйшее выживаніе, приспособленія къ средѣ. Такъ совершается развитіе жизни въ рядѣ все болѣе цѣлесообразныхъ, приспособленныхъ къ жизни организмовъ. Тоже начало приспособленности, цѣлесообразности, которымъ и сохраняется жизнь и ведется по пути развитія, сохраняетъ свое значеніе и для жизни уже вполнѣ сложившейся. И эта жизнь, съ точки зрѣнія ученія эволюціонизма, тѣмъ совершеннѣе, тѣмъ достойнѣе, прекраснѣе, счастливѣе и полнѣе, чѣмъ исключительнѣе она направляется началами цѣлесообразности. И наоборотъ, она тѣмъ не совершеннѣе, чѣмъ болѣе опредѣляющее значеніе въ ней имѣютъ силы чуждыя, или враждебныя цѣле-

сообразности, служащія не къ приспособленію индивидуума къ средѣ, но къ отспособленію отъ нея. Но цѣлесообразность въ дѣятельностяхъ живаго существа можетъ проявляться двумя путями. Или, это цѣлесообразность инстиктивная, проявляющаяся тамъ, гдѣ привычный образъ дѣйствій настолько уже укоренился, что выполняется безъ предварительнаго обсужденія, внутренней борьбы и усилія; или это цѣлесообразность разумно сознательная, достигаемая чрезъ вѣрныя соображенія всѣхъ возможныхъ послѣдствій предпринимаемаго дѣянія, наилучшихъ средствъ осуществленія намѣченной задачи и т. д.

Только существо, дѣятельное согласно доказавшимъ уже свое жизненное значеніе инстинктамъ, или по вѣрнымъ и точнымъ *расчетамъ* цѣлесообразности, и представляется отвѣчающимъ той задачѣ, которая для этого ученія составляетъ и альфу и омегу жизни—задачѣ приспособленія индивидуума къ средѣ. Все, что не есть органическій инстинктъ, или расчетъ, все, что не служитъ великой задачѣ приспособленія и, слѣдовательно, вмѣшиваясь въ теченіе жизни, эту задачу нарушаетъ, съ этой точки зрѣнья, является *несовершенствомъ*. Оно изъ совершенной, *разумной* жизни должно быть, по возможности, устранено. А таковы прежде всего не выражающіе органическихъ инстинктовъ, совершенно чуждые всякой цѣлесообразности и не только не приспособляющіе человѣка къ окружающей его средѣ, но ставящіе его въ противурѣчіе съ нею *идеалъ* и *страсть*. Что же удивительнаго въ томъ, что всѣ нравственныя

ученія, выросшія на почвѣ эволюціонизма, относятся если не прямо враждебно, то по крайней мѣрѣ, весьма подозрительно, полупрезрительно къ идеалу и страсти, видя въ нихъ только выраженіе несовершенной еще приспособленности человѣка къ средѣ, несовершенство, относительное *нсразуміе* его жизни?! Что-же удивительнаго въ томъ, что для этихъ ученій, для которыхъ наиболѣе совершенный человѣкъ есть и наиболѣе приспособившійся, наиболѣе свободный и отъ идеала и отъ страсти, наиболѣе sétant fabriqué lui même,—въ тоже время и наиболѣе добродѣтельный человѣкъ есть наиболѣе цѣлесообразный, всегда имѣющій успѣхъ, а геройскій подвигъ, творческій подъемъ духа, какъ свидѣтельствующіе о неполной приспособленности, объ идеалѣ и страсти—ставятся на одну доску съ безумiемъ, болѣзнью и преступленіемъ?!...

Но дѣйствительно-ли идеалъ и страсть не должны имѣть мѣсто въ жизни разумной, дѣйствительно-ли они враждебны достоинству, глубинѣ, полнотѣ и счастію жизни, а жизнь безъ идеала и страсти—есть жизнь *разумная*, а не въ высшей степени, наоборотъ — неразумная?!

II.

Приступая къ вопросу о достоинствѣ, разумности и цѣнности *жизни*, необходимо, прежде всего, устранить одно очень распространенное недоразумѣніе, сдѣлавшееся, особенно въ этомъ вопросѣ, источникомъ бездны ошибокъ. Прежде всего, здѣсь

нужно помнить существеннѣйшее различіе между соотвѣтствующей своей задачѣ оцѣнкою *жизни* и оцѣнкою какого бы то ни было другаго предмета, или явленія. Оцѣнивая ландшафтъ, книгу, машину, какой-либо предметъ роскоши и т. п., я въ правѣ справляться только съ моими собственными понятіями о прекрасномъ, умномъ, полезномъ или драгоцѣнномъ, въ правѣ произнести оцѣнку, оставаясь на своей точкѣ зрѣнія *внѣшняго* самому предмету наблюдателя или зрителя. Совсѣмъ иное съ жизнью. Я, конечно, не въ правѣ утверждать, что мой знакомый N. N. счастливъ—въ то время, когда онъ самъ испытываетъ горе, корчится отъ боли; не могу доказывать, что жизнь другаго моего знакомаго А. полна интереснѣйшимъ содержаніемъ и высоко достойна, когда онъ самъ томится безъисходной скукою, или искренне презираетъ себя и то, что онъ дѣлаетъ.

Здѣсь собственная оцѣнка своей жизни гг. N. N. или А. имѣетъ несравненно болѣе серьезное значеніе, чѣмъ мнѣніе о нихъ какого-либо сторонняго, внѣ ихъ стоящаго наблюдателя. Это просто потому уже, что сама эта оцѣниваемая жизнь ихъ переживается *только* ими самими, и *жизнью* остается только въ той мѣрѣ, въ какой ими *самими* испытывается, чувствуется и понимается. Жизнь извѣстна каждому только какъ рядъ состояній, извѣстныхъ только его собственному внутреннему опыту, субъективныхъ состояній и только. Какъ рядъ же этихъ состояній *его* внутренняго опыта она и имѣетъ, какъ жизнь, ту или иную цѣнность. Внѣшнія

проявленія его внутренней жизни, которыя одни доступны стоящему внѣ его наблюдателю, только истолковываются послѣднимъ какъсвидѣтельствующія о какой-то чужой внутренней жизни, потому что наблюдатель въ собственномъ внутреннемъ опытѣ, переживаетъ жизнь. И тотъ, кому въ видѣ исключенія было-бы совершенно чуждо то или другое состояніе чувства (напр. молитвенное настроеніе) никогда и не пойметъ этого чувства въ другомъ по самымъ даже яркимъ его выраженіямъ. Всѣ эти выраженія, сами по себѣ, безъ истолкованія ихъ съ помощью своего собственнаго внутренняго опыта о жизни, суть, только болѣе или менѣе тонкія или грубыя, болѣе и менѣе напряженныя и быстрыя движенія въ пространствѣ—и ничего больше. Это до такой степени вѣрно, что Декартъ, напримѣръ, усумнившійся въ правильности истолкованія проявленія жизни у животныхъ по своему внутреннему опыту о своей человѣческой жизни, считалъ животныхъ только *автоматами*, *какъ-бы* одаренными жизнью!

Поэтому, если жизнь есть дѣйствительно жизнь только поскольку она вѣдома самому ее переживающему существу, и цѣнность имѣетъ лишь поскольку оно само придаетъ ей какую-либо цѣнность,—и невозможно говорить о какой-либо разумности, достоинствѣ и счастіи жизни существа, которое само въ своей жизни не находитъ ничего разумнаго, достойнаго и счастливаго. Какія-либо объективныя мѣрки для оцѣнки жизни не пригодны и Вольтеровъ мудрецъ, увѣряющій страдальца, что онъ

счастливѣйшій изъ людей, ибо живетъ въ лучшемъ изъ міровъ, конечно, можетъ быть правъ въ какомъ угодно отношеніи, только не въ отношеніи оцѣнки того, что переживается его собесѣдникомъ т. е. его жизни. Для того, чтобы оцѣнка послѣдней была дѣйствительною оцѣнкой жизни, нужны не тѣ или другіе объективныя мѣрки,—будь это самыя даже возвышенныя и вѣрныя понятія объ истинѣ, добрѣ и красотѣ. Нужно изслѣдованіе тѣхъ условій нашей внутренней жизни, при которыхъ наши мысли, наши чувства и поступки, составляющіе нашу жизнь, для насъ *самихъ* получаютъ или утрачиваютъ какую-либо логическую, эстетическую, или нравственную цѣнность. Міръ, въ которомъ вовсе не было бы никакой субъективной жизни, *сама для себя* цѣнной, не могъ-бы имѣть цѣнности и для какого-либо внѣ его стоящаго сознанія. Самое бытіе цѣнность имѣетъ не въ представленіяхъ о немъ или понятіяхъ внѣ его стоящей мысли, но по скольку оно само себя сознаетъ, само себѣ вѣдомо. И міръ, въ которомъ не было бы никакихъ, знающихъ о себѣ и чувствующихъ свое бытіе существъ, стремящихся къ истинѣ, добру, или счастію, самъ былъ-бы совершенно безразличенъ и къ истинѣ, и къ добру, и къ счастію. Былъ-бы онъ лишенъ и всякой жизни, ибо жизни нѣтъ безъ какого-либо знанія живымъ существомъ о своей жизни, хотьбы въ самой смутной формѣ самочувствія, рождающагося вмѣстѣ съ характеризующимъ жизнь произвольнымъ движеніемъ и регулирующаго это движеніе, дѣлающаго его произвольнымъ. Жизни нѣтъ

безъ какого бы то ни было знанія о ней тѣмъ кто ее переживаетъ, также какъ и безъ руководимыхъ этимъ знаніемъ произвольныхъ движеній, усилій, поступковъ. Какая-либо цѣнность жизни поэтому придается ей не тѣмъ или другимъ сужденіемъ о ней, въ представленіяхъ и понятіяхъ сторонняго зрителя, но собственнымъ ея знаніемъ о себѣ, прежде всего, въ формѣ самочувствія и чувства.

Въ другихъ мѣстахъ (глав. обр. „Страданіе и наслажденіе жизни“ и „Чувство какъ нравственное начало“) я довольно подробно останавливался на вопросахъ объ особенной природѣ чувства, его отношеніи къ познавательной дѣятельности и волѣ, и на той роли, какую оно играетъ въ цѣломъ строѣ нашей душевной жизни. Не имѣя здѣсь возможности даже въ самомъ сжатомъ видѣ повторить сказанное мною ранѣе, я останавлюсь здѣсь лишь на немногихъ самыхъ существенныхъ положеніяхъ изъ этой области, имѣющихъ прямое отношеніе къ вопросу, составляющему задачу настоящаго очерка. Изъ сказаннаго выше ясно уже, почему должно искать данныхъ для рѣшенія вопроса о цѣнности жизни не въ области понятій, или представленій, имѣющихъ своимъ позначеніемъ познаніе объективной, внѣ насъ лежащей, дѣйствительности, но въ *чувствахъ*, въ которыхъ субъективная жизнь только узнаетъ тѣ свои *субъективныя* состоянія, черезъ которыя она проходитъ. Чувство не утверждаетъ никакой другой дѣйствительности, кромѣ своей собственной переживаемости,—кромѣ того, что я, на-

примѣръ, сейчасъ испытываю боль, восторгъ, гнѣвъ и т. д. п. Наоборотъ, представляя себѣ или мысля что-либо въ понятіи, мое сознаніе утверждаетъ не только существованіе въ немъ этого представленія или понятія, но и утверждаетъ или отрицаетъ и то объективное, что представляется или мыслится въ понятіи. Если, какъ мы говорили, жизнь имѣетъ какую-либо дѣйствительную цѣнность лишь для себя самой и не въ представленіяхъ, или понятіяхъ внѣшняго ей зрителя, но въ собственномъ своемъ субъективномъ знаніи о себѣ, а такое знаніе и дано намъ непосредственно въ чувствахъ, то понятно, что въ области послѣднихъ же, а не въ области представленій и понятій, надлежитъ искать основаній рѣшенію вопроса о цѣнности жизни или, что тоже, о благѣ. Третья форма душевной жизни—воля для этой цѣли не годится, ибо не даетъ намъ вообще *никакого* знанія,—не знанія внѣшней самой мысли дѣйствительности, ни знанія о переживаемыхъ мною субъективныхъ состояніяхъ. Она есть лишь стремленіе, направляемое, регулируемые тѣми двумя родами знанія, представленіемъ и чувствомъ.

Изъ указаннаго отличія того знанія, которое мы имѣемъ въ чувствѣ, отъ предметнаго знанія въ представленіи и понятіи, вытекаютъ очень важныя для всякой оцѣнки чувствъ особенности ихъ. Прежде всего, не утверждая никакой дѣйствительности, кромѣ своей собственной, чувства, чуждыя всякаго сомнѣнія, всякой недостовѣрности, никогда не могутъ ошибаться подобно нашимъ представленіямъ и понятіямъ. Когда у меня мучительно болитъ зубъ'

чувство боли и безусловно несомнѣнно, достовѣрно, и не обманываетъ меня нисколько, говоря мнѣ о своей мучительности, хотя я и очень хорошо могу знать всю незначительность этой болѣзни въ общемъ состояніи моего здоровья. Также могутъ быть ошибочны и недостовѣрны мои представленія о поводахъ испытываемыхъ мною чувствъ гнѣва, радости или надежды, но самыя эти чувства мною *переживаютея* и безусловно достовѣрны и реальны въ тотъ моментъ, когда мы ихъ переживаемъ. Для нашего взгляда на чувство, повторимъ вслѣдъ за Лотце, важно не то, какой смыслъ можетъ кто-либо найти въ его откровеніяхъ; главное—какой смыслъ въ моментъ ихъ исполненія—связываетъ съ ними сама чувствующая душа. Поэтому, какъ замѣчаетъ Гартманнъ, каждое существо счастливо по его собственнымъ ощущеніямъ и оцѣнкѣ; страданія и наслажденія существуютъ лишь поскольку они чувствуются, значитъ, *внѣ* чувствующаго субъекта, они и не вовсе имѣютъ реальности. Развѣсть болѣе истинная оцѣнка чувства, спрашиваетъ г. Мокіевскій, чѣмъ само это чувство? Каждое наше чувствованіе стоитъ ровно столько, во сколько мы его сами цѣнимъ. Такъ какъ чувство, какъ такое, не утверждаетъ никакой реальности, то оно не погрѣшимо. Поэтому же оно и реальность и достовѣрность, и собственную цѣнность, какъ чувство, имѣетъ только въ самый моментъ своего реальнаго переживанія. Но всѣ эти его свойства утрачиваются имъ тогда, когда мы о немъ только вспоминаемъ въ представленіяхъ и понятіяхъ о пережитомъ.

Чувство, какъ чувство, (реальное достовѣрное и дѣйствительно цѣнное) идеально *не* воспроизводится, какъ уже не разъ доказывалось, но только реально переживается. Поэтому эмоціональное, цѣнное содержаніе чувства, то что дѣлаетъ его чувствомъ, совершенно ускользаетъ отъ ретроспективнаго обозрѣнія въ воспоминаніи. Цѣнить наши былыя чувствованія по тому значенію, которое мы имъ придаемъ теперь, столь же нераціонально, какъ и мѣрить наши нынѣшнія чувствованія, не по нашимъ личнымъ ощущеніямъ, а по тому какое значеніе имъ придаютъ другіе. Для чувства, замѣчаетъ г. Мокіевскій, есть *только настоящее:* прошедшее и будущее имѣютъ значеніе лишь по стольку, по скольку они измѣняютъ наши нынѣшнія чувствованія, т. е. какъ радости и печали антиципацій и воспоминанія. Все это, ставящее условія правильной оцѣнки совокупности придающихъ нашей жизни ту или другую цѣнность чувствъ, къ сожалѣнію слишкомъ часто упускается изъ виду даже наиболѣе крупными изъ изслѣдовавшихъ вопросъ о цѣнности жизни мыслителей. Таково, напримѣръ, характерное для Гартманна, Тауберта и нашего Гр. Л. Н. Толстаго отрицаніе цѣнности въ общемъ балансѣ жизни тѣхъ, когда-то пережитыхъ нами отрадныхъ чувствъ, которыя въ послѣдствіи для насъ, уже умудренныхъ жизненныхъ опытомъ, представляются вызванными мнимыми или ложными поводами, *иллюзіями* и. т. п. Таково же далѣе и рѣшеніе вопроса объ общемъ балансѣ цѣнности жизни съ точки зрѣнья *общаго разумнаго пла-*

на жизни, раціональной схемы жизни, постоянныхъ источниковъ удовольствія у Сёлли Мокіевскаго и мног. друг. Здѣсь всюду оцѣнка жизни въ предметномъ понятіи и представленіи о ней ставится на мѣсто единственной возможной оцѣнки ея въ *чувствѣ*. Но для полученія послѣдней оцѣнки не пригодны конечно ни невозможное перечисленіе всѣхъ переживаемыхъ „среднимъ человѣкомъ“ въ теченіи его жизни чувствъ, ни изслѣдованіе того, какія направленія дѣятельности и планъ жизни способствуютъ образованію чувствъ, увеличивающихъ цѣнность жизни, или наоборотъ-ее обезцѣнивающихъ, какъ у г. Мокіевскаго. Здѣсь возможенъ единственный путь: опредѣленіе тѣхъ общихъ психическихъ условій, при которыхъ развиваются чувства, придающія жизни болѣе высокую цѣнность, глубину и полноту.

Въ числѣ этихъ условій---важнѣйшее мѣсто занимаютъ, какъ мы сейчасъ увидимъ, осужденные современнымъ эволюціонизмомъ и позитивною моралью конца нашего вѣка идеалъ и страсть.

III.

Исключительное значеніе чувства, свидѣтельствующаго живому существу о переживаемыхъ имъ субъективныхъ состояніяхъ, изъ непрерывнаго ряда которыхъ состоитъ его жизнь, для опредѣленія цѣнности этой жизни, явствуетъ уже изъ самаго источника возникновенія чувства. Возникаетъ чувство вовсе не изъ представленій внѣшняго міра или

пассивно воспринимаемыхъ нами впечатлѣній его на насъ, какъ думала психологія почти до второй половины нашего вѣка. Современная психологія въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей отказалась и отъ понятія чисто пассивно воспринимаемыхъ душею отвнѣ впечатлѣній и отъ доказавшихъ свою безплодность попытокъ вывести и объяснить всѣ другія болѣе сложныя формы душевной жизни изъ соединеній, ассоціацій этихъ мнимо-пассивныхъ воспріятій, все болѣе и болѣе осложняющихся. Одинъ изъ первыхъ и несомнѣннѣйшихъ основныхъ законовъ современной психологіи есть такъ называемый—*законъ психическаго спектра*.—Это тотъ законъ, по которому ни состояніе воли, ни состояніе представленія или чувства не существуютъ сами по себѣ, отдѣльно, но непремѣнно и во всякомъ случаѣ даны всѣ три вмѣстѣ, составляя только три стороны одного нераздѣльнаго душевнаго процесса. Если же не существуетъ ни представленія или ощущенія ни чувства безъ воли, безъ ея акта, то, очевидно, что никакихъ пассивныхъ воспріятій, въ которыхъ внѣшній міръ отпечатлѣвался бы на душѣ, какъ на мягкомъ воскѣ, ни пассивныхъ чувствъ, развивающихся изъ комбинаціи подобныхъ впечатлѣній уже допустить нельзя. Въ основѣ всей душевной жизни и всѣхъ ея состояній долженъ непремѣнно полагаться какой-нибудь *волевой* актъ живаго существа, стоющій ему опредѣленнаго усилія и имѣющій опредѣленную напряженность.

Главная заслуга въ установленіи на прочныхъ

основахъ этого понятія о *психической активности* принадлежитъ прежде всего Горвичу, затѣмъ Вундту, изъ русскихъ психологовъ Владиславлеву. Но понятіе о жизни вообще, какъ непрерывномъ рядѣ дѣятельностей, актовъ, ведетъ свою родословную еще отъ отца всей науки, Аристотеля. Существо совершенно бездѣятетьное было бы и существомъ не живымъ; было бы оно вмѣстѣ съ тѣмъ и ничего не чувствующимъ и не ощущающимъ, т. е., вовсе *не сознающимъ*. Самая первая искра сознанія загорается въ первомъ произвольномъ, стоющемъ усилія движенія живаго существа. Такое движеніе, стоющее усилія, не можетъ не сознаваться совершающимъ его животнымъ въ формѣ хотя бы смутнаго самочувствія. А послѣднее необходимо для того, чтобы самое движеніе было не случайнымъ-механическимъ отвѣтомъ на механическій только толчекъ, но произвольнымъ, регулируемымъ изъ самого совершающаго это движеніе индивида. Безъ такого регулированія движеній невозможно стало бы и никакое приспособленіе организма къ окружающей средѣ, невозможна и никакая жизнь, и никакое дальнѣйшее развитіе. Въ основѣ всей жизни лежитъ, такимъ образомъ, проявляющееся во всякой дѣятельности самочувствіе, и жизнь съ этой точки зрѣнія является нетолько непрерывнымъ рядомъ дѣятельностей, но и непрерывнымъ рядомъ состояній самочувствія. Имѣть эти состоянія, въ которыхъ существо узнаетъ, что оно *есть*,—а имѣетъ ихъ оно только въ дѣятельности и черезъ дѣятельность, — составляетъ поэтому первую и постоян-

нѣйшую потребность душевной жизни. Только въ дѣятельности и находитъ эта потребность для себя удовлетвореніе, только черезъ дѣятельность же, становится жизнь и вѣдомою себѣ и въ какой-либо мѣрѣ для себя цѣнною. Вполнѣ бездѣятельное существо не могло бы придавать своему бытію никакой цѣнности, оставаясь къ нему совершенно равнодушнымъ:

Но дѣятельность, составляющая, какъ мы видимъ, и существо жизни и условіе какой-либо цѣнности ея, непремѣнно есть въ какой-либо мѣрѣ сознаваемая. Сознаваться же она можетъ въ двухъ отношеніяхъ: или *сама по себѣ*, по своей напряженности, по тому усилію, съ которымъ она совершается,—или по своему отношенію къ *объектамъ*, на которые она направлена, по своему направленію. Сознаваемая въ первой формѣ, т. е., какъ субъективное усиліе извѣстной напряженности, она и вѣдома намъ, какъ *чувство:* чувство есть именно сознаніе дѣятельнаго субъекта о напряженіяхъ, усиліяхъ своей дѣятельности. Сознаваемая въ другой формѣ, т. е., по своему направленію на тѣ или другіе объекты, она порождаетъ знаніе (въ ощущеніяхъ-ли, или представленіяхъ, или понятіяхъ—всё равно) самихъ этихъ объектовъ то есть *познающій интеллектъ*. Въ какой изъ этихъ двухъ формъ вѣдомая себѣ дѣятельность опредѣляетъ цѣнность для субъекта его жизни—совершенно очевидно. Ясно, что цѣнны для него прежде всего, непосредственно и безошибочно—тѣ усилія, напряженія, которыми осуществляются его

дѣятельности. Тѣ же знанія о предметахъ, которыми опредѣляется направленіе его дѣятельности, ея путь, имѣютъ сами по себѣ значеніе только служебныхъ средствъ и условій этой дѣятельности. Эмоціональный, волнующій, возбуждающій, или угнетающій волевую дѣятельность характеръ принадлежитъ, поэтому, исключительно *чувству* и только въ несравненно слабѣйшей степени—состояніямъ, познающаго интеллекта: ощущеніямъ, представленіямъ, понятіямъ и. т. д. Чѣмъ послѣднія болѣе близко подходятъ къ своему назначенію—давать намъ предметное, объективное знаніе, – тѣмъ они менѣе имѣютъ страстный, волнующій характеръ. Безстрастіе есть идеалъ предметнаго знанія. Отвлеченное, научное понятіе совершенно лишено эмоціональности; нѣсколько болѣе ея въ живыхъ и яркихъ представленіяхъ; въ сферѣ же простыхъ ощущеній именно тѣ, которыя даютъ наиболѣе чистое теоретическое знаніе (зрительныя) обладаютъ наименьшей эмоціональностью, тогда какъ въ ощущеніяхъ вкусовыхъ и обонятельныхъ, которыхъ познавательное содержаніе чрезвычайно скудно и неясно, эмоціональность возрастаетъ по мѣрѣ именно этой скудости и неясности. Свидѣтельствуетъ объ этомъ возрастаніи волнующаго характера душевныхъ состояній по мѣрѣ уменьшенія ихъ значенія для предметнаго познанія и огромное различіе въ тѣхъ сопутствующихъ этимъ состояніямъ *движеніяхъ*, которыми они отражаются и выражаются въ двигательной мускульной области. Какое огромное различіе въ напряженности, массѣ и широтѣ распро-

страненія по всей мышечной системѣ тѣхъ почти незамѣтныхъ и тѣсно локализованныхъ движеній, которыми сопровождается мышленіе напр. отвлеченнаго понятія, и тѣми энергичными и широко распространяющимися по всему организму движеніями, которыя сопровождаютъ сильныя обонятельныя и вкусовыя ощущенія. *Законъ обратнаго отношенія между эмоціональностью душевнаго состоянія и его предметно-познавательнымъ характеромъ* можетъ почитаться однимъ изъ наиболѣе прочно обоснованныхъ законовъ научной психологіи.

А между тѣмъ только по мѣрѣ своей эмоціональности, составляющей самое существенное и важное для воли въ чувствѣ, и получаютъ переживаемыя нами душевныя состоянія большее или меньшее значеніе для цѣнности нашей жизни. Можно поэтому сказать съ увѣренностью уже здѣсь, что существо, которое бы утратило *всю* свою эмоціональность, перестало бы что-либо горячо и страстно чувствовать и чѣмъ-либо волноваться, но все ушло-бы въ спокойное и ясное научное мышленіе или созерцаніе—вмѣстѣ съ тѣмъ утратило бы и всякую дѣйствительную цѣнность своей жизни, стало бы къ ней безусловно равнодушнымъ. Съ нимъ случилось бы тоже, что и съ существомъ, которое отказалось бы отъ всякой дѣятельности, всякаго усилія, напряженія и захотѣло бы ограничиться одними пассивными воспріятіями и бездѣятельнымъ пользованіемъ готовыми благами жизни. И на томъ и на другомъ оправдались бы слова Маудсли „пере-

стать желать и стремиться значитъ начать умирать физически, нравственно и интеллектуально". Неподражаемо выразилъ ту же мысль великій Гёте въ двустишіи:

Wer nicht mehr strebt und nicht mehr irrt,
Der lasse sich begraben.

Однимъ „умомъ", однимъ знаніемъ безъ чувства и его страстныхъ волненій не проживешь жизнь, имѣющую какую-либо цѣнность, интересъ и теплоту. Пусть чувство слишкомъ часто способно нарушать своими страстными порывами правильное, разсчитанное теченіе жизни, внося въ нее элементъ случайности, непредвидѣнности! Но не нужно забывать, что, какъ превосходно доказывалъ Дюрингъ въ своей книгѣ „о цѣнности жизни", — жизнь, въ которой не было бы ничего непредвидѣннаго, неожиданнаго, никакого случая и никакой свободы, въ которой исчезли бы всякіе поводы къ волненіямъ надежды и опасенія, — вовсе перестала бы быть жизнью. Ставши столь же опредѣленной и ясной, какъ и простая ариѳметическая задача, такая жизнь кончилась бы для человѣка неизбѣжно такимъ квіетизмомъ и тупымъ ко всему равнодушіемъ, которые еще хуже смерти настоящей.

Но если въ чувствѣ, — и непремѣнно въ чувствѣ *страстномъ*, волнующемъ — необходимое условіе жизни цѣнной для живущаго ею существа (а жизнь лишенная всякой цѣнности не есть, конечно, ни „разумная" ни достойная жизнь!), то какими же условіями опредѣляется ростъ и развитіе самого чувства?

IV.

Та почва, на которой возникаетъ вообще чувство, есть, какъ мы видѣли, *дѣятельность* живаго существа, дающая основное содержаніе всей его жизни. Безъ дѣятельности и въ тѣхъ направленіяхъ, въ которыхъ субъектъ не былъ дѣятеленъ, никакихъ чувствъ вовсе и не развивается. Но дѣятельности, сопровождаемыя чувствомъ и имѣющія для жизни цѣнность, суть только дѣятельности, требующія отъ существа извѣстнаго напряженія, усилія, которыя и сказываются непосредственно въ его *самочувствіи*. Одно пассивное воспріятіе впечатлѣній, одно бездѣятельное, не стоющее никакихъ усилій и труда, наслажденіе благами жизни, если-бы оно и было возможно, не внесло-бы въ душевную жизнь никакихъ чувствъ, не придало-бы ей никакой цѣнности. Между тѣмъ именно въ такомъ пассивномъ воспріятіи пріятныхъ впечатлѣній, въ безтрудномъ наслажденіи, весьма многія нравственныя ученія прошлаго видѣли благо жизни, истинную задачу стремленій мудреца. Исторія этихъ ученій лучше всякой критики доказала несостоятельность ихъ исходной точки зрѣнія. Начавъ съ гедонизма, съ ученія о наслажденіи и обладаніи благами жизни, эти ученія постепенно перешли къ исканію уже не положительнаго наслажденія, но простаго *отсутствія страданія*, сперва въ формѣ безмятежнаго довольства, а затѣмъ въ формѣ *безразличнаго*, чуждаго волненій, равнодушнаго отношенія ко всей

жизни. Отсюда—уже одинъ шагъ къ заключительному звѣну всего развитія, къ мертвящему квіэтизму и отчаянію *пессимизма*. Противорѣчіе исходнаго начала и заключенія, полнѣй какого и быть не можетъ! Въ новое время ошибка эта повторяется всѣми тѣми моралистами и философами, которые понятіе усилія, напряженной дѣятельности, работы отождествляютъ прямо съ страданіемъ. Для нихъ все то въ жизни, что стоитъ усилій, замѣтныхъ напряженій—уже по этому самому уменьшаетъ цѣнность жизни,-какъ напримѣръ, для Шопенгауера и Гартманна. И они, начавъ съ требованія безтруднаго наслажденія, даровато счастія, кончаютъ самымъ систематическимъ и грандіознымъ пессимизмомъ. Забываютъ они при этомъ, что если первая жизненная потребность живаго существа есть знать о своемъ бытіи, такъ сказать, *подтверждать* его себѣ,—а это самочувствіе дается въ дѣятельности и черезъ дѣятельность,—то первая-же, жизненнѣйшая потребность живаго существа есть потребность въ дѣятельности. Отождествлять при этомъ дѣятельность, усиліе съ страданіемъ совершенно уже невозможно. Напротивъ—самое отсутствіе дѣятельности уже порождаетъ страданіе (скука, тоска вынужденнаго покоя), а дѣятельность въ извѣстныхъ *предѣлахъ напряженности* сама по себѣ доставляетъ уже наслажденіе. Послѣднее подтверждаютъ и прыжки и игры молодыхъ животныхъ и дѣтей, и игры людей зрѣлыхъ, представляющія для нихъ тѣмъ больній интересъ, чѣмъ болѣе въ игрѣ рѣшающее значеніе имѣютъ искусство и случай, и то наслажде-

ніе, какое всякій сильный, здоровый характеръ находитъ въ борьбѣ съ препятствіями, со всѣми ея волнующими перипетіями. Квіэтизмъ, наоборотъ, полная бездѣятельность и жизнь только *по привычкѣ*—никогда никому еще не доставляли положительнаго наслажденія, въ періодъ здоровья по крайней мѣрѣ. Страданіе, представляющее, такъ сказать, вычетъ изъ цѣнности жизни въ цѣломъ, есть спутникъ не дѣятельности самой по себѣ вообще, *но лишь дѣятельности или недостаточной, задержанной въ своемъ проявленіи, или чрезмѣрно насильственно напряженной.*

Въ этомъ послѣднемъ положеніи и заключается рѣшеніе вопроса объ условіяхъ, при которыхъ сопровождающія наши дѣятельности чувства придаютъ жизни бо́льшую, высшую положительную цѣнность. Это—тѣ условія, при которыхъ дѣятельность наша остается и цѣнною для насъ дѣятельностью и ни недостаточною, ни чрезмѣрно, вынужденно напряженною.

Для существъ, живущихъ еще жизнью вполнѣ непосредственною, болѣе физическою, чуждою всякой рефлексіи, эти условія лежатъ, главнымъ образомъ, въ окружающей ихъ внѣшней средѣ. Отъ нихъ самихъ, при благопріятныхъ внѣшнихъ условіяхъ, т. е., не стѣсняющихъ ихъ движеній и не вынуждающихъ ихъ къ непомѣрно усиленнымъ и продолжительнымъ движеніямъ, требуется только извѣстный запасъ здоровья, жизненной энергіи. Таковы животное, ребенокъ, первобытый дикарь. Для нихъ и скука, и тоска бездѣйствія и переутомленіе невозможны безъ искусственныхъ и отвнѣ идущихъ

условій лишенія свободы, пищи и воздуха, принужденія и т. п. *Въ нихъ самихъ* не заключается побужденій для насильственно-задержанной или перевозбужденной дѣятельности. Подобныя условія могутъ встрѣтиться намъ лишь на высшихъ ступеняхъ развитія, гдѣ человѣкъ живетъ уже рефлексіею, и чрезмѣрность или недостаточность своей дѣятельности опредѣляетъ уже не однимъ соотвѣтствіемъ или несоотвѣтствіемъ ея наличному запасу своей жизненной энергіи, но своими цѣлями, страстями и міровоззрѣніями. На ступени же непосредственной жизни достаточность или недостаточность дѣятельности опредѣляется лишь соотвѣтствіемъ наличнаго запаса жизненной энергіи съ наличными внѣшними условіями, благопріятными или неблагопріятными для ея нормальнаго проявленія. Пока этотъ запасъ достаточенъ и внѣшнія условія не слишкомъ неблагопріятны, для него невозможны ни скука, ни переутомленіе: онъ живетъ и счастливъ своей жизнью. Когда же соотвѣтствіе между жизненной энергіей и внѣшними условіями нарушено,—онъ столь же просто, какъ жилъ и наслаждался жизнью, — умираетъ. И замѣтьте—умираетъ безъ ожесточенной борьбы противъ наступающей смерти, протеста противъ нея, спокойно и покорно. Только среди людей, живущихъ, какъ говорится, „нервами“ т. е., людей чрезвычайно высокаго умственнаго развитія и особенно энергичной воли, встрѣчаемъ мы примѣры смерти, которой предшествуетъ долгая, ожесточенная противъ нея борьба, агоніи продолжающейся по два по три дня (напр. А. С. Пушкинъ или М. Н.

Катковъ). Ни среди животныхъ, ни среди дѣтей или дикарей мы такой борьбы противъ смерти не встрѣтимъ.

Въ жизни людей, достигшихъ уже высокой степени развитія, живущихъ уже рефлексіею, выработавшихъ уже себѣ міровоззрѣнія и планы жизни, законъ чувства остается тотъ же, т. е., положительную цѣнность жизни придаютъ чувства такихъ дѣятельностей, которыя представляются ни недостаточными, ни чрезмѣрными. Но та *мѣра*, по которой здѣсь опредѣляется недостаточность или чрезмѣрность жизненныхъ дѣятельностей, здѣсь уже иная. Она лежитъ здѣсь уже не въ одномъ наличномъ запасѣ жизненной энергіи и соотвѣтствующихъ или несоотвѣтствующихъ внѣшнихъ условіяхъ, но и въ *понятіяхъ* самаго человѣка о томъ, какова его дѣятельность, и какова она должна быть. Здѣсь поэтому счастіе или несчастіе человѣка въ значительной степени—его собственное дѣло. Самъ, своими взглядами на свою жизнь, онъ можетъ отравить всѣ ея радости, лишить ее всякой теплоты и серьознаго интереса, какъ и на оборотъ.

Къ такимъ взглядамъ на жизнь, проникнувшись которыми человѣкъ самъ свою жизнь обращаетъ въ мертвую пустыню, принадлежитъ и то понятіе о разумной, чисто-раціональной и только цѣлесообразной жизни, съ изложенія котораго мы начали. Тамъ, гдѣ все расчитано,—не допускается ничего непредвидѣннаго, нѣтъ мѣста никакимъ волненіямъ, ни надеждамъ, ни опасеніямъ. Нѣтъ мѣста и никакимъ страстнымъ *стремленіямъ*, ибо нельзя стра-

стно стремиться къ тому, чего наступленіе или не наступленіе уже съ математическою точностью предусмотрѣно. Нельзя здѣсь и съ горячимъ интересомъ слѣдить за приближающими постепенно къ предусмотрѣнному результату событіями, также какъ нельзя, рѣшая математическую задачу, горячо интересоваться всѣми промежуточными подстановленіями, обращеніями, превращеніями и т. п. Нѣтъ мѣста здѣсь наконецъ ни подвигу, ни борьбѣ, ибо все уже заранѣе съ непогрѣшимой точностью предусмотрѣно, и ни подвигъ, ни борьба со всѣми ея интересами и волненіями, не внесутъ ничего случайнаго, нераціональнаго въ правильное теченіе „разумной“ жизни. Изъ ея раціональнаго плана исключены и всякій случай, и свобода, и всякая страсть, и всякій идеалъ, который былъ-бы цѣненъ и придавалъ бы цѣнность и дѣятельности независимо отъ расчетовъ на его осуществимость или неосуществимость, но самъ по себѣ. Правилу сильныхъ, благородныхъ и счастливыхъ людей: Fais que dois, advienne que pourra здѣсь также нѣтъ мѣста, ибо всё это міровоззрѣніе исходитъ изъ положенія, что должно предпринимать лишь то, что безошибочно-цѣлесообразно, несомнѣнно осуществимо. Не останавливаемся здѣсь на томъ коренномъ противорѣчіи, въ которомъ этотъ взглядъ на жизнь, требующей отъ человѣка, чтобы онъ самъ однимъ своимъ разумомъ и своею силою велъ и устроялъ всю свою жизнь, стоитъ къ воззрѣнію *религіозному* вообще (безъ различія исповѣданій). Здѣсь мы желали только указать на то, то и съ чисто психологической точки зрѣнія этотъ чвзглядъ совершенно обезцвѣчиваетъ для раздѣляю

щаго его, жизнь. Онъ лишаетъ эту жизнь въ его глазахъ и всякаго интереса и теплоты, а его самого—всякой здоровой энергіи. Конечно, при этомъ самъ человѣкъ отнюдь не становится счастливѣе, не придаетъ своей жизни бо́льшей цѣнности. Квіэтизмъ, скука и, наконецъ, отчаяніе пессимизма—единственный исходъ изъ этого ученія о *разумной* жизни. Нашъ вѣкъ, представляющій особенно широкое распространеніе его, болѣе всякаго другаго вѣка исторіи можетъ быть характеризованъ и скукою, и отчаяніемъ пессимизма, и стремленіемъ къ тупому квіэтизму, и ведущему къ послѣднему безнадежному аскетизму. Жизнь, построенная по этому плану разумной жизни безъ идеала и страсти, оказывается очевидно глубоко и непоправимо *неразумною.*

Совершенно иное дѣйствіе, чѣмъ это совершенно исключающее изъ своей программы и идеалъ и страсть понятіе о раціональной, цѣлесообразной жизни, оказываютъ на душу въ оцѣнкѣ ею переживаемой жизни эти самые идеалъ и страсть. Совершенно чуждые всякихъ соображеній *цѣлесообразности,* полезности,—съ этой точки зрѣнія нераціональные,—идеалъ и страсть не убиваютъ, но въ громадной степени повышаютъ душевную энергію. Увеличиваютъ они для души и цѣнность ея жизненныхъ дѣятельностей, увеличиваютъ и тотъ запасъ тратимой ею въ этихъ дѣятельностяхъ энергіи, который для нея можетъ представляться ни недостаточнымъ, ни чрезмѣрнымъ. Уменьшаютъ они такимъ образомъ и предѣлы той области, въ которой дѣятельность можетъ порождать два главные бича современнаго человѣка—скуку и пере-

утомленіе. Въ нихъ, поэтому, — лучшая гарантія для человѣчества сохранить за своею жизнію ту цѣнность, которая, повидимому, въ наше время упала уже до своего возможнаго минимума.

Между идеаломъ и страстью въ психологическомъ отношеніи очень много общихъ, сходныхъ чертъ. Прежде всего, какъ идеализмъ всегда страстенъ, такъ и страсть всегда идеализируетъ предметъ своего стремленія, всегда идеалистична. Этой страстностью, эмоціональностью и особой цѣнностью для души, идеалъ глубоко отличается отъ тѣхъ *понятій* разума, въ которыхъ намъ дается предметное познаніе. Въ понятіяхъ этихъ мы познаемъ предметъ, который данъ намъ независимо отъ нашего желанія, нашей воли, и съ которымъ мы напротивъ должны согласовать свою волю. То или другое знаніе предмета принимается моею мыслію не потому, чтобы я *хотѣлъ* этого предмета (напр. закона тяготѣнія или закона химическаго сродства), но потому, что моя мысль *вынуждена* къ этому очевидностью, неустранимостью извѣстныхъ впечатлѣній отъ предмета, — что она этого знанія *не принять не можетъ*. По этому — то предметное знаніе, чѣмъ оно ближе къ своему идеалу предметности, тѣмъ *безстрастнѣе*, безвольнѣе. Оставляя душу безъ волнующихъ ея *собственное* существо эмоцій, предметное знаніе и неспособно само по себѣ вызывать энергическое напряженіе воли. Оно цѣнно для послѣдней лишь какъ указатель для нея возможныхъ путей и средствъ ея дѣятельности. Оно можетъ сдерживать волю и научать ее лучшимъ средствамъ, но *не возбуждаетъ*

ее подобно чувству (объ этомъ см. въ „Чувство, какъ нравственное начало“.). Въ совершенно иномъ отношеніи къ волѣ стоитъ *идеалъ*. И идеалъ есть понятіе или представленіе. Но онъ—не понятіе о предметѣ, который только *данъ* душѣ и котораго она не признать *не можетъ*, но понятіе, котораго она *положительно хочетъ*. Онъ не только указываетъ волѣ, его хотящей, средства и границы дѣятельности, но и возбуждаетъ ее, и направляетъ, придавая ей особенную цѣнность. Отсюда его страстность. Отсюда же и его способность придавать особенную цѣну даже малымъ затратамъ дѣятельности, имъ направляемой, и которыя сами по себѣ были бы недостаточны, и не замѣчать чрезмѣрности громадныхъ затратъ энергіи въ тѣхъ же дѣятельностяхъ. Для человѣка, чьею дѣятельностью руководитъ идеалъ, въ которой онъ страстно вѣритъ, какъ въ самъ по себѣ безусловно цѣнный, независимо отъ его близкой или далекой, вѣрной или невѣрной осуществимости,—не существуетъ ни слишкомъ малыхъ ни чрезмѣрныхъ напряженій въ этой дѣятельности. Одушевленный вѣрою въ свой идеалъ и любовію къ нему, онъ и отъ *отсрочки* его осуществленія не испытываетъ острыхъ мукъ неудовлетвореннаго желанія. И приносимыя имъ на этомъ пути *жертвы* не уменьшаютъ въ его глазахъ цѣнности ожидаемаго достиженія. И всякій малѣйшій *успѣхъ* не разочаровываетъ его своею малостью и цѣнится имъ. И наконецъ радости предвидящей конечное торжество *антиципаціи* для него — ничемъ не отравлены. Какую энергію и какую цѣнность душевной дѣятельности придаетъ идеалъ,

какую массу недоступныхъ безъ него теплыхъ и отрадныхъ чувствъ въ душѣ зарождаетъ, — совершенно очевидно.

Идеалъ поэтому всегда *оптимистиченъ*, заставляетъ и видѣть въ жизни лучшее и больше цѣнить ее, и крѣпко надѣяться на лучшее. Эта черта оптимизма опять сближаетъ идеалъ со страстью. И страсть, хотя бы даже и грубая, всегда идеализируетъ свой предметъ, всегда твердо вѣритъ въ достиженіе того, къ чему стремится, всегда придаетъ меньше значенія требуемымъ ею жертвамъ и больше—достигаемымъ ею успѣхамъ; и для нея радости антиципаціи выше даже мукъ раскаянья, опасенія за будущее и т. п. Наконецъ дѣятельность, возбуждаемая сильною и глубокою страстію, подобно дѣятельности возбуждаемой идеаломъ, не являясь никогда для самой души ни ничтожною, ни непосильно напряженною, не даетъ мѣста въ своей области чувствамъ скуки и переутомленія. Послѣднее для страсти въ особенности мало доступно благодаря тому, что страсти обыкновенно возникаютъ не мгновенно, но на почвѣ привычныхъ, долго и часто повторявшихся дѣятельностей. А извѣстно, что всякая привычная дѣятельность по мѣрѣ своего повторенія совершается все съ меньшимъ напряженіемъ усиліемъ, достигая все бо́льшихъ результатовъ. Вотъ сколько новаго, цѣннаго содержанія вноситъ въ душевный міръ столь чуждая всякаго разумнаго расчета цѣлесообразности страсть, къ которой такъ враждебно, съ презрѣніемъ и ненавистью относилось большинство моралистовъ и психологовъ! Главною

причиной этого презрѣнія и ненависти къ страсти для нихъ было то, что страсть *слѣпа*, что одержимый сю человѣкъ теряетъ способность спокойнаго, разумнаго самообладанія. Но эту слѣпоту и это отсутствіе расчета, холоднаго и спокойнаго самообладанія, контроля воли, страсть вноситъ въ нашу душу не одна, а *вмѣстѣ* съ столь же чуждымъ *разумнаго* расчета и все животворящимъ идеаломъ. А во что, въ какую безцвѣтную, безплодную и мертвую пустыню обращаетъ жизнь, какимъ несчастнымъ и неинтереснымъ ни для себя, ни для другихъ, скучающимъ и скучнымъ существомъ дѣлаетъ человѣка устраняющая, изъ жизни идеалы и страсти теорія раціональной, цѣлесообразной жизни—это мы уже достаточно видѣли! Современное человѣчество достаточно ясно говоритъ своей скукой и отчаяніемъ о достоинствахъ этой теоріи...

И если ей суждено всецѣло овладѣть умами современнаго культурнаго человѣчества, окончательно убить въ немъ всякую энергію и всякую любовь къ обезцѣненной въ концѣ жизни,—то настало время придти Гогамъ и Магогамъ и занять мѣсто этого несчастнаго, *пережившаго* себя человѣчества. Какъ ни грубы и жестоки были бы ихъ идеалы и страсти, жизнь ихъ будетъ все же разумнѣе, счастливѣе и достойнѣе, чѣмъ жизнь этого безсильнаго культурнаго человѣчества безъ идеала и страсти, безъ силы и безъ жажды жизни...

П. Е. Астафьевъ.

СОДЕРЖАНІЕ.

стр.

Предисловіе къ поэмѣ Я. П. Полонскаго, „Собаки“, съ изложеніемъ первыхъ XIII гл. ея. *П. Е. Астафьева.* 3

Собаки юмористическая поэма *Я. П. Полонскаго.* . 33

Изъ моихъ воспоминаній *И А. Григоровскаго* . . 61

Отрывокъ изъ письма стих. *А. Н. Майкова.* . . . 117

Грѣхъ Потапа народный разсказъ *А. Александрова.* 119

Идеалъ и страсть *П. Е. Астафьева.* 147

0,5

4
098098/9-77